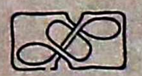
Н. С. ТАГАНЦЕВ.

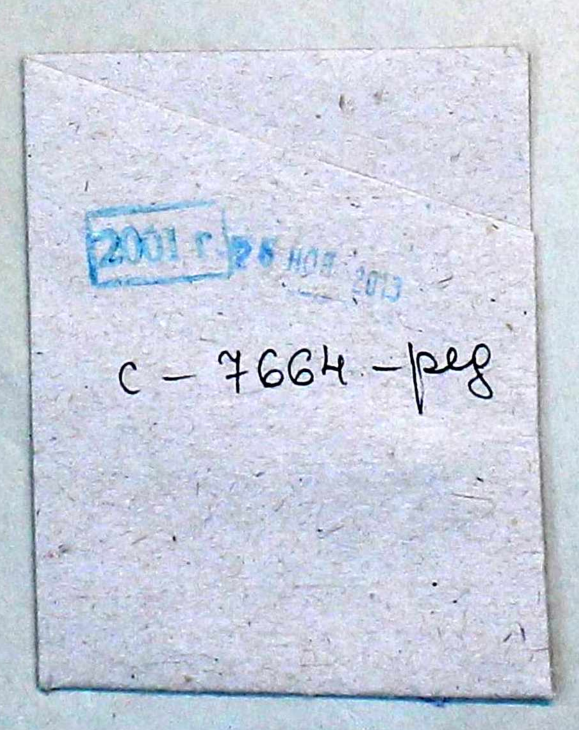
ПЕРЕЖИТОЕ

Второй выпуск.



ПЕТРОГРАД.
18-ая Государственная типография. Лештуков пер., 13.
1919.

кр. фонд.



Н. С. ТАГАНЦЕВ.

ПЕРЕЖИТОЕ

Второй выпуск.



ПЕТРОГРАД.
18-ая Государственная типография. Лештуков пер., 13.
1919.

ПЕРЕЖИТОЕ.

I. Преподавание В. К. Сергею Александровичу в 1877 г.

В воспоминаниях о 1877 г. я упоминаю о том, что в том же году я принял на себя преподавание уголвоного права Великому Князю Сергею Александровичу, и что воспоминание об этом может составить совершенно отдельный эпизод мною «пережитого».

Вот об этом эпизоде я и хочу теперь рассказать. Конечно, сколько-нибудь серьезного государственного или даже большого общественного значения это воспоминание иметь не может, но несомненно является некоторою бытовою картинкою жизни высших сфер.

1. Начало преподавания.

Весною 1877 года мне как-то заявил проф. И. Е. Андреевский, что, повидимому, меня думают пригласить для чтения лекций по уголовному праву Великому Князю Сергею Александровичу; помню, что я возразил, что едва ли это может быть, так как моя репутация в дворцовых сферах должна быть довольно скверная, и мы с ним добродушно посмеялись. Но вслед затем, однако, ко мне заехал воспитатель Великого Князя адмирал Дмитрий Сергеевич Арсеньев [1]) и сделал формальное предложение быть преподавателем В. Князю; после нескольких возражений и колебаний, я согласился. Преподавание мое продолжалось с августа месяца 1877 года по июль 1878 года.

---

[1]) Дмитрий Сергеевич Арсеньев окончил курс в Морском Корпусе; потом был много лет в заграничном плавании, преимущественно в Тихом Океане. По окончанию воспитания Вел. Князей, был назначен директором Морского Корпуса. Родился он 14 сентября 1832 г. и умер членом Гос. Совета тоже 14 сентября 1915 г.

При первом же затем свидании с Д. С. Арсеньевым в Зимнем Дворце я спросил, какой у него план преподавания юридических наук Великому Князю и какой предположен объем того, что я должен буду прочесть? Я полагал, что он, как воспитатель обоих Вел. Князей, Сергея и Павла, давно выработал план не только общего курса, который Сергей уже прошел, но и специального, который для Сергея Александровича должен был быть юридический; и что при этом он наметил не только общий распорядок преподавания, но хотя бы приблизительно и программы тех предметов, по которым ему придется слушать лекции, так как при краткости срока занятий и при ограниченности числа преподавателей, по необходимости нужно было строго согласовать программы их курсов, чтобы избежать не только несоразмерности объема отдельных курсов, но и нарушения надлежащей их полноты и взаимного соотношения.

Но ответ его был совершенно неожиданный. Арсеньев мне объяснил, что я должен читать уголовное право и общие начала процесса [1]); что чтения будут продолжаться с начала августа и до половины июня; сначала в Зимнем Дворце, а потом в Царском Селе; что вероятно в конце будет произведен экзамен, на

---

[1]) После смерти Сергея Александровича через год или два, точно не помню, как то подходит ко мне в Государ. Совете Д. С Арсеньев и говорит, что он пишет теперь воспоминания о воспитании им Великих Князей Сергея и Павла и очень просит меня написать по подробнее о своих впечатлениях о преподовании покойному Великому Князю Сергею.

Я согласился и написал, помню, целый почтовый лист большего формата.

Воспоминания Д. С. Арсеньева были напечатаны в „Русском архиве“ за 1911 год № 12-й.

Теперь, подготовляя к печати этот набросок, я просмотрел его воспоминания и нашел на стр. 568-й буквально только нижеследующее: „Государственное право было поручено профессору И. Е. Андреевскому; *Русское законодательство профессору Николаю Степановичу Таганцеву;* политическая экономия В. П. Безобразову, которого оба Великие князья полюбили и который сделался им близким человеком и остался до конца своей жизни“. Таким образом оказалось, что я только напрасно писал ему о своих впечатлениях: он даже не запомнил и не потрудился справиться, что именно я читал В. К. Сергею.

Далее вспоминая (стр. 582) день совершеннолетия В. К. Сергея т. е. истечения ему 20 лет (ст. 198 основн. зак. 1906 г.) 20 апреля 1877 г., он говорит про своего питомца: „он был, хотя очень религиозен, чист и благонамерен, но к себе *снисходителен* и, что называется, *ветхий* человек, хотя в нем был хорошо направлен, но *не уничтожен (?)*... Родители его были им довольны и он был *жизнерадостный* и действительно прекрасный молодой человек. Далее он описывает самое принесение Сергеем присяги, но, вспоминая разные мелочи, даже не упомянул о том, что в церкви при принесении присяги были особо приглашенные старшие преподователи, а в числе их и я; что мы составили особую маленькую группу, поставленную в церкви на весьма видном месте, и тотчас после присяги приносили ему поздравления, тогда как высшие чины двора, представители армии и флота и дипломатический корпус приносили поздравления только на следующие дни.

котором будет присутствовать Государыня Императрица Мария Александровна и, может быть, посетит экзамен сам Государь (Александр II); что Государыня, может быть, будет заглядывать иногда и на лекции; что читать я буду три раза в неделю в Петербурге и в два приезда в неделю, но по два часа, в Царском Селе: одну лекцию до завтрака и другую после завтрака; что В. Кн. не будет составлять лекций, а лучше будет, если я после каждой лекции буду давать подробные конспекты, которые будут переписываться. По главной же части моего вопроса— о схеме содержания курса, т. е. о том, под каким углом зрения желательно, чтобы я излагал предмет, исключительно ли теоретически или с практическим оттенком, в пределах русского права или сравнительно с иностранными кодексами,— я в этот раз получил такой ответ: что я на столько опытный профессор, что в этом отношении он вполне полагается на меня. На мой же дальнейший вопрос, что нельзя ли по этому предмету посоветоваться и переговорить с другими профессорами, чтобы быть в гармонии с ними в методе преподавания и размежеваться по соприкасающимся вопросам, он объяснил, что едва ли это можно сделать, так как, напр., Константин Петрович Победоносцев [1]) очень занят и он не может его беспокоить, а с проф. Андреевским я могу лучше переговорить лично; но никаких дальнейших указаний і от него я получить не мог. Должен прибавить, что как я убедился впоследствии, это отсутствие заранее выработанного и сколько нибудь последовательно проведенного плана, как было, например, сделано ранее при подготовлении безвременно скончавшегося наследника Николая Александровича, лишало в значительной степени всякой разумности наше преподавание: каждый шел своею дорогой. При близком соотношении отдельных частей нашего государственного и уголовного права или международного и уголовного, по одному и тому же предмету получалось совершенно различное освещение, а некоторые даже весьма существенные вопросы оставались вовсе без рассмотрения, в надежде, что это будет сделано другим преподавателем.

Одним словом, это отсутствие плана и системы преподавания специально юридических предметов делало крайне трудным общее усвоение их не только такому не особенно способному юноше, каким был Сергей Александрович, но даже и очень талантливому.

Могу сказать про мою кратковременную деятельность при дворе, что уже почти в конце моих занятий с В. К. я пришел

---

[1]) Победоносцев знакомил Вел. Кн. Сергея Александровича с основами гражданского права и вероятно, с принципами русской государственной политики; с ним я во время моего преподования Вел. Князю ни разу не встречался.

к твердому выводу, что если бы я знал задачу нашего преподавания и условия, в которых находится тот, кого мы обучали, то по крайней мере на ¾ я читал бы не то, и не так, как я читал, *потому что совсем не то требовалось* для Великого Князя, в виду его индивидуальных особенностей, и условий преподавания; и той цели, к которой должно было стремится преподавание, т. е. к подготовке его для будущей административной деятельности.

Как воспитатель адмирал Арсеньев несомненно имел свои достоинства, но еще более недостатков—весьма значительных. Я совершенно не знаю и не имею никаких сведений о том, каков он был как моряк, но с ним, как человеком, ознакомился: как тогда, в 1877 году, так и позднее, когда мы были вместе в Государственном Совете. Он был несомненно честный и порядочный человек. Имел очень видную и красивую фигуру, даже и в преклонных годах. Будучи членом правой группы Государственного Совета, он никогда к клике крайне-правых не принадлежал. По связям, по родству, по условиям первоначальной службы, он принадлежал к придворной группе, и, конечно, этот придворный лоск и эти отношения, а не какия либо педагогические качества определили выбор его Государынею в воспитатели. Никаких талантов или выдающихся способностей он не проявлял; воспитанников своих, особенно Сергея, несомненно любил; ничему дурному он не потакал и, я думаю, никаким их порокам, которые, может быть совершенно ложно, приписывались одному из них, всеконечно, не потворствовал. Он требовал от них не только соблюдения внешней дисциплины, которую, по моим воспоминаниям, всего более нарушал младший—Павел; требовал от них не только корректного, но даже предупредительного отношения к преподавателям и к низшим дворцовым служителям, с которыми они соприкасались, не говоря уже об их дядьках, и в этом отношении, как мне казалось, он достиг хороших результатов, в особенности по отношению к Сергею, который по природе, кажется, был мягче и податливее. Как относился к нему Великий Князь Павел Александрович я ничего сказать не могу, так как я с ним не занимался; встречались мы с Павлом Александровичем не каждый мой приезд, да и то мимоходом. Но мне и тогда казался Павел более властным и более гордым. Как мне говорил преподававший им обоим физику и, кажется, математическую географию, Константин Дмитриевич Краевич, автор общеизвестного учебника физики, человек не только высоко-порядочный, но и большого ума и наблюдательности, Павел был несомненно способнее и талантливее. По словам Краевича: воспитательное дело молодых князей было поставлено необыкновенно сумбурно,—но чья это вина: адмирала ли Арсеньева или общего

склада придворного быта, он сказать не мог, и прибавлял, что у него иногда являлось желание совсем отказаться от преподавания, а между тем, я хорошо знаю, что князья очень ценили и уважали его и о его преподавании говорили мне не раз почти с восторгом.

Доказательство малой продуманности в ведении дела преподавания пришлось испытать и мне лично. Я уже привел крушение моего желания поговорить с другими преподавателями; другие доказательства по отношению ко мне приведу далее, а здесь позволю себе указать на такой педагогический курьез. Как-то месяца через два после начала моих чтений я столкнулся с известным нашим ботаником проф. Андреем Николаевичем Бекетовым, бывшим ректором нашего университета. Он выходил от Сергея Александровича, после прочтения ему лекции по ботанике. Я, конечно, этому весьма удивился, но потом все объяснилось с придворно-воспитательной точки зрения просто. Бекетов должен был читать этот предмет два года ранее, в связи с другими естественными науками; но так как оказалось, что ему тогда почему-то читать было нельзя, а между тем высочайше было указано пригласить для чтения ботаники Бекетова, то Арсеньев отложил ознакомление своего воспитанника с этим предметом на будущее время, и так как общий курс, так сказать, гимназических предметов был уже закончен, то он поступил совершенно просто—пригласил Бекетова заниматься ботаникою на специальном курсе, на ряду с юридическими предметами.

Юридические предметы занимали главное место в специальном преподавании, но вовсе не были исключительными. Напротив того, Великий Князь слушал одновременно и военные науки,—какие именно точно сказать не могу, но ему их читали—проф. Академии Генерального Штаба Леер, генерал Николай Афанасьевич Демьяненков [1]) и еще кто-то. Независимо от этого, он продолжал слушать курс литератур. Но это отдел занятий теоретических, а был еще разряд занятий, так сказать, практических; они заключались в приемах разного рода депутаций и лиц. Таковые приемы происходили почти ежедневно и брали не только много времени сами по себе, но и требовали особой для того подготовки. Великому Князю делалась спе-

[1]) Воспоминания Д. С. Арсеньева, стр. 569. „Что же касается курса военных наук, то тактику и стратегию читали генералы, Г. А. Леер и Михаил Иванович Драгомиров; военную статистику генерал П. Л. Лобко; фортификацию профессор генерал Кюи и артиллерию Н. А. Демьяненков. Великий Князь Сергей интересовался этими науками и занимался очень добросовестно; но любимой его наукою была история". Читал историю обоим князьям еще при прохождении ими гимназического курса профессор К. Н. Бестужев-Рюмин, а потом был выписан из Москвы на всю зиму 1876—1877 гг. наш знаменитый историк С. М. Соловьев.

циальная репетиция предстоящего приема. Ему объяснялась не только сущность того, о чем будут просить или что будут говорить представляющиеся, но давались особые объяснения о том: каково социальное положение представляющихся, о чем следует примерно спросить их или говорить с ними,—оттого представлявшиеся уходили под впечатлением не только доступности и любезности Князя, но и обширности его ознакомленности с тем, что каждому из представлявшихся было лично дорого, приятно, и очень знакомо, они выносили не только прекрасное мнение об отзывчивости князей, но и об обширной их ознакомленности со всеми сторонами русской жизни. Отсюда же вытекало известное правило обще-дворцового этикета, что представляющийся должен отвечать только на то, о чем его спросят, но не быть совопросником. От того при дворе считалось, что только люди, не имеющие понятия об этикете, или буйно неудержимые, могут брать на себя активную роль при подобных представлениях; активное участие посетителя в беседе несомненно могло бы поставить принимающего в весьма затруднительное положение и, во всяком случае, лишало бы прием надлежащего блеска. Вот преподавание этой житейской дипломатии и было специальностью Арсеньева, и составляло главный козырь его педагогической приспособленности.

2. Ход преподавания.

И так началось преподавание. Подарило оно меня многими и неожиданными сюрпризами, но в общем оставило по себе хорошее впечатление.

Приготовлялся я к первой лекции весьма тщательно, обдумал ее, конспект написал также обстоятельно, даже каллиграфически прилично, несмотря на мой, причинявший много горя в былое время наборщикам почерк. Обстановка чтения была самая простоя. В небольшой классной комнате В. Кн. Сергея; присутствовал только Арсеньев, да был я с Вел. Князем. Волнения я никакого не испытывал, что иногда с новыми преподавателями случалось, как, например, с известным Владимиром Павловичем Безобразовым (впоследствии академик), который читал весною 1878 г. Сергею политическую экономию и финансы, и про которого мне Арсеньев, смеясь сообщал, что первая лекция была пресмешная, так как профессор в течение лекционного часа раза три вскакивал и убегал. Но за то меня после лекции, не помню первой или второй, ожидали два неожиданных сюрприза: один был формальный, но весьма существенный. Арсеньев сообщил мне что мои чтения должны быть устроены так, что половина будет чтением вперед, а другая половина будет занята спрашиванием пройденного; что при

этом я могу убедиться, что усвоено Вел. Князем и что им не понято; что я должен ставить, сообразно с его ответами, баллы, возможно строго оценивая его успехи, и что еженедельно баллы, получаемые В. Князем из всех предметов, представляются Государыне. Мера эта, которая обращала лекционную форму преподавания в урочную; с точки зрения усвоения слушателем проходимого была, конечно, полезна и более принаровлена к общему развитию ученика, но она на половину сокращала все время, предназначенное не только для ознакомления, но и для усвоения обширного предмета, так что весь курс должен был быть пройден не в 80—90 часов, как было мне первоначально указано, а в 40—45 часов, что сразу сбивало мою распланировку предмета. Другое указание было еще мудренее для исполнения. Несколько конфузясь, Дмитрий Сергеевич сказал мне, что усвоение прочитанного мною очень затруднило Сергея, что ему трудно было запомнить то, о чем я читал, и усвоить то, что было прочитано. А в этом отношении, конечно, вступление и общие принципы учения о преступлении и наказании, которые составляли содержание первых лекций, изложенные в отвлеченной и сжатой форме, представлялись трудными для усвоения. «Нельзя ли пояснить и иллюстрировать,—продолжал Арсеньев,—изложение практическими примерами, в особенности из больших процессов». В непригодности принятого мною доктринального отвлеченного метода я и сам убедился при первом же спросе Великого Князя из пройденного. Я обещал Арсеньеву, что я совершенно изменю и упрощу мой способ изложения, но на мои дальнейшие вопросы: можно ли ограничиться только теоретическим изложением, как общих начал о преступлении и наказании, их структуры, а равно и обрисовки отдельных родов и видов преступлений, или же нужно придерживаться действующих законов; нужно ли оставаться в пределах настоящего или знакомить и с прошлым, т. е. с историческим развитием понятий; можно ли держаться только рамок отечественного права или же касаться и главнейших по крайней мере законодательств Запада,—я получил совершенно диллетантский ответ, что совершенно необходимо и то, и другое, и третье, но что я такой опытный, и т. д., и т. д. Тогда я с грустью понял, что я взял на себя непосильную задачу, и что я едва ли чего-нибудь достигну с моим преподаванием. Очевидно, надо было начать с того, чтобы написать кратенький абрис общих начал и системы уголовного законодательства, какие встречались в популярной французской литературе уголовного права, а не давать В. К. Сергею систематический и краткий учебник уголовного права, какие в значительном числе были в Германии. Но у меня не хватило храбрости сделать так, как следовало бы, т. е. прекратить преподавание, и я продолжал

мои чтения; и потому теперь, оглядываясь на прошлое, с укоризною себе могу сказать, что мои чтения для Великого Князя не имели никакого значения, а если я принес ему какую либо пользу, то разве только тем, что он извлек из личного обхождения со мною, так как я ни в чем не изменял моему образу мыслей и никогда не стеснялся говорить и указывать на то, что я думал о текущих событиях; да, может быть, была некоторая польза из моих, так сказать, предметных уроков, о которых я сейчас скажу несколько слов.

Как я уже заметил, первая же проба моя спросить Сергея Александровича из прочитанного показала, что я действительно не соразмерил систему изложения с умственною подготовкою слушателя. Сведения у него были обрывчатые, не связанные единством общей мысли; он не представлял себе ясно, о чем отвечал. Видно было, что он старался добросовестно запомнить то, что было в конспекте, но сущность дела оставалась для него книгою о семи печатях. Вина лежала всецело на преподавателе, который дал ему такую пищу, какую не мог ассимилировать его организм, поэтому я первоначально оценил его ответы снисходительно и, сколько помню, поставил ему 4. Позднее, пища стала удобоваримее, но он не прилагал уже того усердия к ее обработке, как в начале, оттого и мои отметки выше трех не поднимались, а иногда спускались до 2-х; ниже я не ставил отметок, хотя Арсеньев предлагал мне быть строже и даже советовал прибегнуть к оригинальной мере: сказать В. Князю, что я пожалуюсь на то что он ленится Государю. На мое же указание, что эта мера бесполезная, так как Великий Князь легко сообразит, что я Государя не вижу, и что, следовательно, не могу осуществить мою угрозу, Арсеньев ответил, что наверное поверит, что он страшно боится, что отцу сообщат что-нибудь неприятное о нем. Но я этим советом не воспользовался и призрачными страхами не пугал. Притом же, по моему убеждению, неуспех Сергея зависел не от одной лени, а во-первых, от природной недостаточной способности мыслить отвлеченно и даже напрягать в этом направлении свое мышление, а во-вторых, от самого образа его школьной жизни, от необходимости вечно куда-то спешить; от множества отвлекающих его от учения занятий, от необходимости участвовать в празднествах, парадах; затем чуть не ежедневные приемы с подготовкою,—все это такой бульон, в котором бациллы лени и неуспешности культивировались с большим успехом.

Лучше шло дело, как я упомянул, с прикладным, наглядным обучением, как, например, с ознакомлением его с судебными заседаниями, с местами заключения. Помню, что для ознакомления с нашею тюремною системою был приглашен, по инициативе Арсеньева, Анатолий Федорович Кони, который

прочел Сергею Александровичу одну или две лекци о наших тюрьмах. Ездили мы с ним на санях, на тройке, осматривать петербургскую земледельческую колонию для малолетних преступников за Пороховыми заводами, где при осмотре присутствовал председатель общества генерал-адъютант Николай Васильевич Зиновьев.

Осматривали мы также подробно подследственную тюрьму на Шпалерной. Причем с Сергеем Александровичем, помню, случился такой казус, свидетельствующий, как много еще в нем было детского. Когда мы проходили мимо темных карцеров, я посоветовал ему войти в карцер, чтобы испытать, какое он производит впечатление на заключенного в него. Когда он вошел туда, я захлопнул дверь и он остался в темноте. Вдруг мы слышим страшный, жалобный его крик. Поспешили отворить и он оказался совершенно испуганный, взволнованный. Не могу сказать, чего он испугался. Боялся ли он, что мы, воспользовавшись удобным случаем, оставим его там сидеть, или же он просто боялся темноты; но он долго не мог успокоиться.

Предположения Арсеньева о порядке окончания моего преподавания не вполне оправдались. Прежде всего не было, к моему большому удовольствию, экзамена, который вероятно доставил бы мне несколько неприятных минут. Вероятно, это произошло потому, что Государь уехал на войну, да и вообще при дворе было не до того, а потом и сам Великий Князь стал сбираться на Дунай, куда потом и поехал.

3. Анекдотическая сторона преподавания.

Как я заметил в начале, воспоминания о моем проникновении в жизнь придворных сфер не имеют серьезного значения; добавлю теперь, что даже в этой сфере пережитого я отделил существенное, т. е. относящееся к самому преподаванию, и добавлю попутно несколько брызгов памяти, заключающих в себе анекдотические мелочи.

а) Затруднения в швейцарской.

Кому в прошлое, даже в недавнее «буржуйное» время приходилось бывать в высокопоставленных домах в качестве даже не просителя и не прислуги, а хотя бы в виде относительно небольшого интеллигентного услужающего, например, учителя, чтеца, переписчика и т. д., тому настоящее анекдотическое воспоминание будет вполне понятно. Правда, когда-то, еще в 1862 г., будучи студентом, я давал уроки физики и математики

Поливанову, племяннику А. С. Норова, подготовляя его к экзамену в университет, а жил он у дяди на Исаакиевской площади, в доме, и поныне существующем, Мятлевой; и вот как-то, помню великим постом, пришел я на урок, позвонил и дверь мне отпер какой-то хроменький старичек, оказалось—сам Норов, который был в передней и провожал кого-то; он осведомился зачем я явился и очень приветливо отнесся ко мне, чуть ли не хотел помочь снять пальто; а в 1877 г., о котором упоминаю теперь, хотя я был уже генерал, ординарный профессор, но ведь и подъезд, в который я входил, был самого императора, да и швейцар, с которым я вступал в отношения, был тоже императорский, рослый преображенский унтер, грудь которого была увешена медалями, а мундир был ярко красный, не малиново-кровавого республиканско-пролетарского нюанса, а кирпично-придворного.

Лекции я читал в комнатах Великих Князей, во втором этаже дворца; к ним надо было проходить через корридор жилых покоев, на который выходили комнаты самого императора, а потом через так называемую «ротонду». В самом отделении Великих Князей чувствовалось просто и хорошо, так как отношения к нам самих князей были воплощенная любезность, а затем приветлива была и вся их прислуга. Но ведь к ним надо было попасть через подъезд!

Входить во дворец надо было с так-называемого подъезда императора, со стороны адмиралтейства. Теперь там перед дворцом устроен прекрасный садик с еще более замечательною, ныне—увы—при последнем разгроме дворца местами поломанною решеткою, тогда же он выходил прямо на замечательно пыльную дворцовую площадь.

Я чувствовал себя особенно в начале весьма неловко при входе, так как если не было никого из подручных швейцару солдат, то снимать пальто приходилось персонально, что, конечно, было стеснительно; не потому, что это бы было трудно, так как я тогда обыкновенно прислуживал себе сам, но именно стеснительно; чувствовалось, что машина скрипит, что ее нужно и можно смазать, а как это сделать—я не знал. При первом подходящем случае, я заговорил об этом с И. Е. Андреевским; он преподавал уже нескольким Вел. Князьям, и я полагал, что он эти порядки знает; он сказал, с свойственной ему некоторой аффектацией, что для нас это очень затруднительно; что на этом подъезде дают на чай по 25 рублей и даже по 40; конечно, в таких размерах чаевые были для нас не под силу. Я подчинился этому указанию опытного человека, но продолжал чувствовать себя неловко. Наконец, я как-то решился и при подходящем случае вручил красному сановнику трехрублевку, и оказалось, что этого было вполне достаточно для установления

нормальнего порядка вещей. Вообще впоследствии я убедился, чт практические наставления Андреевского были совершенно ошибочны. Мне приходилось очень часто бывать во дворцах и на торжественных приемах, и по делам,—и у меня сохранилось совершенно непоколебимое убеждение, что никакое финансовое учреждение не может дать такого большого % дохода, как правильно помещенные умеренные чаевыя. При этом величина подкупающей благостыни, т. е. сумма «чаевой», не только не играет важной роли, но часто, наоборот, несоразмерность вызывает насмешку или за спиною, или почти что в лицо; в особенности когда эта щедрость проявляется людьми не особенно богатыми, или получающими вознаграждение за свои труды при дворе. Гораздо более значения имели просто человеческие отношения; исключительно формальный, корректно-английский тип «джентльмена для личных услуг», по крайней мере в дворцовом штате не проявлялся. Прибавлю, что за последнее время, после начала думской жизни России, несомненно, и в отношениях камер-лакеев и прочих чинов дворцовой прислуги к посетителям, стали отражаться и политические настроения, и общественныя симпатии к сановникам и полусановникам.

б) Шутка казначея.

Возвращаясь к временам моего преподавания, не могу не прибавить, что после первой чаевой, с дополнением впоследствии на Рождество и на Пасху праздничных, в том же размере, все пошло, как по маслу.

На втором месяце преподавания, когда я уже прочел более десяти лекций, я счел возможным получить вознаграждение. Нужно сказать, что о таковом и о его размере мы не говорили с Д. С. Арсеньевым ни слова. Только проф. Андреевский, когда он мне намекал о предположениях пригласить меня для чтения лекций Сергею Александровичу, сказал, что плата за лекции будет около 10 рублей; а плата эта и в то время для профессора была весьма не велика (в рассчете около не свыше 800 р. в год), если принять во внимание то количество времени, которое нужно было потратить на подготовление к такому специальному курсу и даже на самое чтение, а в Царском на это уходило время с 10 утра до 5 часов, когда я приезжал домой; поэтому материальная сторона меня мало интересовала. Но, однако, когда я прочел лекций 15, я решил отправиться к казначею за жалованьем. Получать нужно было в помещении, находящемся в том же Зимнем Дворце, вход с подъезда около Зимней канавки, в четвертом этаже. Запасся я удостоверением,

что я прочел столько-то лекций. Отправился, обратился к казначею; он был старенький, седенький, чистенький старичек; объяснил ему, что желал бы получить вознаграждение за преподавание В. К. Сергею Александровичу. В ответ на это он обратился ко мне с весьма естественным вопросом:—а сколько вам надо получить? Я сказал, что желал бы получить за 10 лекций по 10 рублей за лекцию. В ответ на это последовал с любезной улыбкой совершенно ошеломивший меня ответ: «извините, такого размера вознаграждения у нас не полагается!» Теперь еще вспоминаю, что я сделался красным, как вареный рак и совершенно растерялся, хоть бы провалиться! В виду этого конфуза, он с самой добродушной улыбкой продолжал: «Вы в первый раз хотите получить, вижу?» И на мой утвердительный знак головою добавил: «вознаграждение самое большое у нас по 8 рублей, и по 2 рубля за каждую лекцию на карету!» И с самым любезным видом выдал мне сотенную. Впоследствии при дальнейших получках он благодушно вспоминал об этом моем афронте и прибавлял: «представьте, это не раз случалось; многие новые конфузятся!». А у меня и теперь это воспоминание вызывает представление об одной из больших нравственных неприятностей.

в) Завтраки в Царском Селе.

Когда Двор переехал в Царское, пришлось ездить туда на целое утро. Поездки эти раннею весною представляли большое наслаждение. На вокзале поджидал дворцовый экипаж, который и доставлял во дворец; проезд по железной дороге был тоже бесплатный. Первая лекция была от 11 до 12, потом следовало время завтрака, а вторая была от 2-х до 3-х час.; в промежуток после завтрака я мог с удовольствием гулять по парку; особенно хорошо было в менее парадной его части, прилегающей к станции «Александровской» Варшавской жел. дороги. Завтрак полагался отдельный, так называемый профессорский; но меня с первого же раза В. Князь стал приглашать завтракать с ними. За завтраком бывал, кроме Вел. Князей, почти всегда Д. С. Арсеньев и иногда кто-нибудь еще из приглашенных ими. Завтраки проходили очень весело, разговаривали обо всем, а в кулинарном отношении были очень питательны; при этом полагался кофе или чай, так что когда я после завтрака возвращался в мою комнату, то на вопрос камер-лакея: не желаю ли я чего-нибудь съесть или выпить, я обыкновенно отвечал отрицательно; но меня удивляла та настойчивость, с которой делались эти предложения, и те все соблазны, которые указывались: не хочу ли я рюмку вина или стакан чаю?—

совершенно как с Людмилою в садах Черномора. Наконец, как-то раз я не устоял и попросил себе зельтерской воды, и надо было видеть с каким удовольствием было чрезвычайно поспешно исполнено мое пожелание. Сначала я приписывал эту милую любезность хорошим качествам дворцовой прислуги, но затем свойственная мне, как завзятому криминалисту, жилка сомнения заговорила; это чрезвычайное радушие стало казаться подозрительным, и я разузнал в чем дело. Наш завтрак, особенно старших преподавателей, даже по тем временам был слишком питателен и, так сказать, роскошен: нам полагалось каждый раз, хотя бы на одного: закуска, три блюда, бутылка крепкого вина, бутылка легкого вина и бутылка пива; кофе и чай. Очевидно, предполагалась большая учительская голодуха и невоздержанность. В действительности, ученая братия была весьма и весьма умеренна и все это чревоугодие шло в пользу камер-лакея. Оттого-то он и был так недоволен моими отказами. Притом же полный завтрак выписывался, хотя бы преподаватель просил чего-нибудь одного—хоть стакан чаю. Этим и объясняется, что в то время расходы двора в этом отношении, т. е. на завтраки и обеды от двора, были весьма велики. Оттого после не только больших приемов и балов при дворе, но и после небольших приемов и обедов, можно было найти в продаже в разнос, через дворцовую прислугу, превосходного дворцового вина которого некоторые сорта, например, рейнское „Kaiser Alexander Wein" или испанские дессертные вина, имели европейскую известность, и последние остатки которых после разорения осенью 1917 г. «царских погребов» были выкачены пожарными командами или были роспиты горе-ценителями, которые предпочли бы кислятине вроде Iohanisberg'а или старого бургондского,—настоящую с ног сшибательную мадеру из виноградников «бр. Змиевых», или же были расхищены простыми грабителями, и проданы по баснословным «пролетарским» ценам.

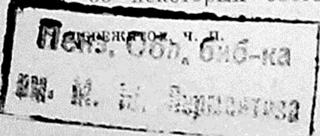
ПЕРЕЖИТОЕ.

2. Защита профессора А. А. Кадьяна в 1877 году.

1. *Мое выступление защитником.*

В 1877 году мне пришлось в первый раз выступить действующим лицом в практической судебной деятельности и единственный раз в моей жизни, защитником по уголовному делу. Сопровождалось это выступление некоторыми обстоятельствами, не лишенными, думается мне, общего интереса, о которых я и хочу вспомянуть.

В 1873 и 74 годах по всей мыслящей России пронесся ураган или, вернее, смерч, завертевший и закруживший в своих сжимающих об'ятиях сотни и тысячи молодой интеллигенции и тронутого культурой социального пролетариата. Начался он в Саратове в мастерской Пельконена и окончился, рассыпавшись, в особом присутствии Сената в Петербурге. По свидетельству одного из лиц, принимавших деятельное участие в круговом поступательном вращении смерча, жандармского генерала Слезкина («Былое», ноябрь 1917 г.), число песчинок, охваченных всеобъемлющим дознанием доходило до четырех тысяч (?) человек, собранных из 26-ти губерний; но преданных суду особого присутствия Сената, так сказать квинт эссенции бунтарей, они же пропагандисты-народники, оказалось 193. В числе их, как один из главных обвиняемых, был земский врач города Николаевска самарской губернии Александр Александрович Кадьян, брат моей жены. Личное и близкое знание Кадьяна, условий его жизни и деятельности, даже отчасти его воззрений, близкое свойство и дружеские отношения, создавали для меня необходимость принять на себя его защиту. Я полагал, что моя глубокая уверенность в его правоте, мое стремление открыть и доказать правду, восполнят мою практическую неопытность. Вот об некоторых обстоятельствах, сопровождавших эту мою



экскурсию в судебную практику, я и хочу сказать несколько слов.

Выступление в этом процессе защитником подозреваемого в государственном преступлении, в моем представлении, могло вызвать некоторые трения в двояком отношении. Во-первых, я только что принял на себя чтение лекций по уголовному праву и процессу великому князю Сергею Александровичу, и во-вторых, я был профессором в училище правоведения, состоящем в ведении министерства юстиции и находящемся под попечительством принца Ольденбургского.

По отношению к первому вопросу я себе представлял, что так как чтение лекций великому князю было делом чисто частным, то если бы мое участие в процессе показалось при дворе недопустимым или неудобным, то это могло бы повлечь только прекращение дальнейших занятий, а к этому я, по многим основаниям, относился совершенно безразлично. Но и этого в действительности не оказалось. Воспитатель великого князя Д. С. Арсеньев даже не предлагал никакого вопроса о моей защите, хотя мое участие в процессе революционеров было ему известно.

Оставалось выяснить отношение к моей защите высшего начальства училища правоведения.

Для этого я отправлися к бывшему тогда министром юстиции графу Константину Ивановичу Палену.

Хотя до этого времени нам приходилось встречаться довольон редко, но отношение между нами были не только корректными, но скорее дружескими, так как граф всегда ценил то. что он был студент нашего университета, был членом немецкой корпорации студентов петербургского университета и сохранил нежное отношение к своей alma mater, до самой своей смерти, присутствуя на наших годовых обедах 8-го февраля, даже сначала иногда на общих обедах бывших студентов, а позднее в нашем специальном кружке, так называемом кружке профессора Мартенса.

Разговор с министром по поводу моего участия в процессе начался совершенно дружески. Я изложил свои отношения к Кадьяну и основания, по которым я считал себя нравственно обязанным принять участие в процессе в качестве защитника. Граф соглашался с частными и семейными основаниями моих побуждений, но выражал сомнение о возможности согласовать официальную защиту обвиняемого в государственном преступлении с обязанностями преподавателя в таком привилегированном учреждении, как училище правоведения.

Спор принимал менее любезный характер, и мы, по инициативе графа, перешли на официальный тон, именуя друг друга «ваше сиятельство» и «ваше превосходительство». Наконец, Константин Иванович поставил ультиматум, что он, как

министр юстиции, не может допустить, чтобы я принял на себя защиту Кадьяна. Я со своей стороны ответил ему также категорически, что не могу отказаться от защиты. Тогда граф сказал мне сухо, что в таком случае я должен отказаться от преподавания в училище; на это я ответил, что лично я не вижу никакого основания для подачи в отставку и такого прошения не подам; но что так как училище находится под ведением министерства юстиции, то он, в качестве министра юстиции, может меня всегда уволить по 3-му пункту. На этом мы расстались совершенно сухо, даже без обычного рукопожатия.

По выходе от министра юстиции я решил немедленно сообщить о том, что я принимаю защиту Кадьяна его императорскому высочеству принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, как попечителю училища правоведения. Я имел по личным отношениям, о которых речь будет особо, право являться к нему во всяком необходимом случае. Прямо из министерства юстиции я отправился во дворец Ольденбургского. Принц принимал, и я тотчас же явился к Петру Георгиевичу. Я повторил то же, что говорил министру юстиции о моих отношениях к Кадьяну, о том, что я знаю его с молодых лет, и т. д. Он выслушал это внимательно со своим, памятным вероятно всем, имевшим с ним дело, добродушно-добрым взглядом, и предложил мне два вопроса. Первый—убежден ли я в том, что мой шурин не совершил того, в чем его обвиняют? На что я ответил, что на судебном следствии я постараюсь представить все доказательства его невиновности, а самое признание его виновным или невиновным будет зависеть от особого присутствия. Затем последовал второй вопрос, не могу не сказать, совершенно неожиданный: не был ли Кадьян знаком с доктором Кобылиным? Для уяснения этого, казалось бы мало понятного и не относящегося к делу вопроса, я должен сделать небольшое пояснительное отступление. По Каракозовскому делу был привлечен доктор А. А. Кобылин, ординатор второго военного госпиталя, по обвинению в том, что Каракозов по приезде в Петербург перед покушением был у него, и что он не только знал о намерении Каракозова совершить преступление, но даже снабдил его ядом для обезображения лица и для отравления себя после покушения. Обвинение основывалось на показаниях самого Каракозова. Но так как Каракозов дал три различные показания об этих предметах, в одном говоря, что он похитил яд, а в двух других, что он получил его от Кобылина, и при этом однако каждый раз указывая разные места получения яда, и так как Кобылин категорически отрицал эти показания и знание о планах Каракозова, бывавшего у него под вымышленною фамилиею Владимирова, и так как, наконец, у Каракозова при обыске на месте преступления никакого яда найдено не было, то Верховный суд,

рассматривавший дело Кобылина, хотя и отдельно от дела Каракозова, но в тот же день, 31 августа 1866 года, оправдал Кобылина. Принц Ольденбургский, который участвовал в заседаниях верховного суда, как его член, хотя и подписал оправдательный приговор о Кобылине, но, очевидно, остался внутренно при убеждении, что Кобылин был одним из главных виновных членов общества «Ад», и хотя оправданный Кобылин поступил затем на государственную службу, даже, кажется, служил у петербургского обер-полицеймейстера, позднее градоначальника, но у принца засело воспоминание об его преступности и создалось довольно смелое предположение о скрытом участии Кобылина во всех позднейших революционных попытках. Этим и вызван был, очевидно, предложенный мне вопрос. Я, конечно, ничего не знал о возможности знакомства Кадьяна с Кобылиным, но, выходя из того соображения, что во время Каракозовского покушения Кадьян был еще гимназистом, что по месту его службы в самарском земстве, где протекала приписываемая ему преступная деятельность, он не встречался, да едва ли и мог встретиться с Кобылиным, я на вопрос принца, с полною решительностью ответил: «Совершенно незнаком», на что принц сказал: «Хорошо, хорошо», и мы расстались.

Спускаясь от принца, я встретил на лестнице графа К. И. Палена, поднимавшегося к принцу, и тотчас же подумал, как благоразумно я сделал, поспешив к принцу и предварив министра юстиции; иначе исход моего разговора был бы совершенно иной, и вопрос о защите Кадьяна значительно бы осложнился.

Действительно, на другой же день принц приехал в правоведение специально для того, чтобы повидать меня, и сказал: «Вы знаете, вчера у меня был граф Пален: он находит, что преподавателю училища правоведения неприлично выступать защитником по делу революционеров, но я ему сказал, что вы мне все рассказали, что вы полагаете, что ваш родственник не виноват, и что я вам разрешил». Тем вопрос о допустимости меня к защите был исчерпан.

Только уже во время самого процесса, когда я произносил защитительную речь, и так как она была очень продолжительна (я говорил около шести часов), то после первых двух часов я попросил у председательствовавшего сенатора Ренненкампфа пятиминутного перерыва, на что он кивнул мне головою в знак согласия, но как раз в этот момент в зал вошел принц Ольденбургский, и председатель также мимикою пригласил меня продолжать речь. Правда, принц, по своему обычаю, просидел на деле не более десяти минут и уехал, но вскоре при посещении правоведения он подошел ко мне и произнес обычною скороговоркою, в нос: «Я был на процессе. Там было все так при-

лично. Они вас слушали, очень внимательно слушали, и у вашего подсудимого очень интеллигентный вид», и этим августейшим одобрением Кадьяна все закончилось. Прибавлю, впрочем, что и со стороны графа Палена мое самовольство никаких репрессивных мер не вызвало и он остался ко мне в прежних отношениях; а впоследствии, когда я уже был сенатором и первоприсутствующим уголовного кассационного департамента, а граф ушел из министерства, мне не раз приходилось получать от него письма с самыми лестными отзывами; в особенности по поводу так называемых пасторских дел [1]).

2. Расправа с Бвголюбовым (Емельяновым).

Я получил в качестве защитника Кадьяна от первоприсутствующего в особом присутствии Сената свидетельство о назначении меня защитником и о разрешении мне на основании 569-ой статьи у.у.с. объясняться наедине с подсудимым в первых числах июля 1877 года. В тот же день я отправился к Кадьяну. Свидания давались нам в помещении канцелярии тюрьмы, но при втором же посещении, которое было 13 июля, произошло описываемое далее происшествие.

Когда меня впустили в этот раз в наружные ворота подследственной тюрьмы со Шпалерной, я вошел в первый дворик, это было сколько я помню, около 2-х с половиною часов дня. Я услышал какой-то сильный гул, несшийся со стороны тюрьмы. Я вошел во входную дверь из вторых ворот и поднялся во второй этаж. Меня поразили два обстоятельства. Во-первых, несся, как я упоминал, какой-то, так сказать, дикий рев; слышались несвязные крики мужских и женских голосов, удары чем то по

[1]) Т. е. дел о привлечении остзейских пасторов к уголовной ответственности за совершение религиозных обрядов или даже таинств над заведомо, а иногда только предположительно православными. Позволю себе по этому поводу привести одно из многих имеющихся у меня в архиве писем графа Константина Ивановича Палена от 22 марта 1900 г. „Милостивый Государь Николай Степанович. Позвольте искренно благодарить Вас за любезное и отрадное Ваше сообщение, Вы можете быть уверены, что Вы освободили от тяжелого и несправедливого обвинения высоко честного человека, исключительно только занятого исполнением своего долга. Применяясь к известному слову мельника в Sans Souci, мы тоже можем сказать: il y a des juges à Petersbourg. Поэтому я позволю поздравить Ваше превосходительство и то учреждение, в котором Вы председательствуете. Каждый честный человек радуется, когда он убеждается, что Сенат охранил великий принцип справедливости. Но Вы легко поймете, с каким теплым чувством я отношусь ко всякому проявлению начал истинного правосудия в наших судебных учреждениях; поэтому я высоко ценю Ваше любезное сообщение, как по намерению с Вашей стороны, так и по содержанию. Дай Бог Вам силы долго еще осуществлять основы истинной справедливости. Примите от меня это душевное пожелание вместе с искренним приветом. Гр. Пален.

дереву, лязг железа; понять и разобрать, что кричат, не было никакой возможности; во-вторых,—полнейшеее отсутствие по дороге обычных людей—тюремной стражи, надзирателей. По лестнице и у входа никого не было. Я вошел в канцелярию—тоже никого нет. Подошел к окну, оно выходило на один из двориков мужского отделения тюрьмы. Там я увидел, что творилось что-то невообразимое: во всех окнах, имевших вид амбразур, виднелись человеческие лица; арестанты сидели на подоконниках, колотили о решетки чем попало. В воздухе млело какое-то остервенение. Был жаркий солнечный день. Я вышел в коридор, прошел немного вперед, мимо ближайших камер—никого не видно; опять воротился. Прошло минуты три—четыре, пока вошел или, вернее, вбежал знакомый мне надзиратель тюрьмы, видимо, совершенно растерявшийся. Подошел к стоящему в комнате шкафчику, вынул пузырек, вероятно, с валериановыми каплями, и принял порядочную порцию. Я спросил, что случилось, и прибавил, что пришел на свидание с Кадьяном. Он махнул рукою и сказал только: генерал Трепов все накуралесил, но что именно, не объяснил, прибавив, что свидание врядъ-ли можно устроить, что все сбились с толку; а на мою убедительную просьбу, сказал, что попробует. Прошло минут двадцать, я и теперь вспоминаю, довольно жутких среди продолжающегося адского гомона. Наконец, появился А. А. Кадьян тоже в совершенно невозможном виде: бледный, как полотно, с взвинченными нервами. Он рассказал, заикаясь, как с ним бывало только при сильном волнении, что утром они были на прогулке [1]). Он шел как раз с Боголюбовым, который, как уже окончательно осужденный по Казанскому делу, был в арестантской одежде. В это

---

[1]) Пополняю это данными, напечатанными в Голосе минувшаго" за 1918 г. книжки 7—9, встатье подписавной Сергей Глаголь процесс первой русской террористки". Стр. 148 „Трепов и сопровождавшая его администрация, войдя во двор быстрыми шагами направились, огибая загоны для прогулок справа и тут же повстречались с тремя или четырьмя заключенными, среди которых был Боголюбов. Все они, как и вообще заключенные были в своем платье и поровнявшись с Треповым, сняв шапки, поклонились ему. Трепов не обратил на поклон заключенных внимания, обернулся к сопровождающему его заведывавшему тюрьмою майору Курнееву и что то гневно ему сказал, что он сказал мне не было слышно, но впоследствии выяснилось, что Трепов сделал Курнееву замечание: почему подсудимые гуляют вместе? Разве могут арестованные по одному и тому же делу гулять совместно?! Курнеев не нашелся что ответить, а остановившийся подле Боголюбов, заметил, обращаясь к Трепову: „я по другому делу". Тогда взбешенный Трепов заорал на Боголюбова:—„Молчать! не с тобою говорят".

„Узнав от Курнеева, что Боголюбов уже осужденный преступник Трепов добавил: В карцер его и пошел дальше.

Растерявшаяся администрация не сразу исполнила приказание, и Боголюбов с товарищами, тоже пошел дальше и волею—неволею, обогнув стоявшею внутри двора постройку, на противоположном конце двора снова встретился с Треповым. Боголюбов шел несколько впереди других и, думая

время на дворик вошел какой-то генерал, как оказалось потом, Трепов; что проходя мимо него и разговаривая, они, хотя и поклонились, но не обратили на него особого внимания, пошли дальше кругом, что генерал подозвал потом к себе Боголюбова и на него страшно кричал, как выяснилось за то, что он не отдал ему чести и не снял фуражку, а так как Боголюбов продолжал стоять в фуражке, то он сбил ее сам ударом руки, и закричал: «взять его в карцер»; что затем раскричался на всю администрацию за отсутствие дисциплины; что Боголюбов по распоряжению Трепова был посажен в карцер, а затем высечен розгами, и что это вызвало страшное возбуждение между содержащимися арестантами, сопровождавшееся тем невероятным гвалтом, о котором я уже говорил. Особенно страшно переполошились на женской половине, где за криком, плачем последовали истерики [1]).

вероятно, что второй раз здороваться с градоначальником нет надобности, спокойно прошел мимо, как вдруг Трепов бросился к оторопевшему Боголюбову и закричал: „В карцер! Шапку долой!“ и сделал движение, чтобы сбить с Боголюбова фуражку. Боголюбов машинально откачнулся и от быстрого движения шапка свалилась у него с головы; на большинство же смотревших в окна заключенных это произвело такое впечатление, что Трепов ударил Боголюбова по лицу и ударом сбил с него фуражку.

Что началось затем и представить себе трудно, если вам не случалось видеть тюремных бунтов. Заключенные люди с такими издерганными нервами, что от малейшего повода впадают в состояние буйства и могут наделать много такого, пред чем сами затем становятся в недоумении. Не успел Трепов замахнуться, как в воздухе уже стоял стон от негодующих, бешеных криков заключенных и все, что можно было просунуть сквозь решетку: жестяные кружки, книги и т. п. все это градом полетело во двор в Трепова. Трепов, потрясая кулаком, что-то кричал в ответ, но что, за грохотом и криками нельзя было расслышать. Затем Трепов ушел. Быстро увели со двора всех арестованных, а минуты через три среди двора появился взволнованный Курнеев и замахал нам руками, что бы мы замолчали и дали ему что то сказать: и ну что вы наделали! из за вас теперь Боголюбова приказано высечь“,—крикнул Курнев среди воцарившейся тишины!

Растерявшийся, он думал нас вероятно этим ошеломить, но вместо того конечно, только подлил масла в огонь и началось уже нечто невообразимое. Помню, что я схватил тяжелую оконную раму и (откуда только взялась сила? принялся дубасить ею в железную дверь. Для чего я это делал, я совершенно не сознавал. Просто нужно было дать какой нибудь выход охватившему бешенству и хоть физически утомить себя. Если бы не было этой рамы и я не мог бы оторвать от стены железной кровати или стола, я бы, вероятно, просто сам стал биться об пол и стены. То же самое, как я узнал, происходило и в остальных камерах. Затем к наиболее бунтовавшим и в том числе ко мне ворвались обозленные надзиратели, нас как следует вздули и растащили по темным карцерам, чем и закончился пролог того, что произошло затем“.

[1]) В обвинительном акте по делу В. И. Засулич сказано: „из справки доставленной к делу управляющим домом предварительного заключения видно, что 13 июля 1877 года, по предписанию(?)—Градоначальника за номером 6041, лишенный всех прав состояния и приговоренный в каторжныя работы, арестант Боголюбов был наказан двадцатью пятью ударами розог,

Таков был первый акт драмы Боголюбова (настоящая его фамилия Емельянов, по воспоминаниям Льва Гартмана), вызвавший и для меня неожиданные последствия, о которых будет речь далее.

3. Собирание доказательств. Поездка в Николаевск.

Недели две спустя я поехал в Николаевск, где протекала деятельность врача Кадьяна, защиту которого я принял на себя. Я поехал в первый раз по Волге на пароходе. Много раз я проезжал по России, преимущественно из Петербурга в Пензу, место моей родины, и ознакомился со всеми способами передвижения.

В особенности памятны первые поездки из Москвы в Пензу, давшие мне возможность ознакомиться с народом и с его бытом.

Из Петербурга в Москву выезд на каникулы 1860-го года был мой первый жизненный опыт; поделюсь воспоминаниями о нем.

Когда мы ехали с отцом через Москву для поступления моего в университет, мы пробыли в ней дня два. Избегал я белокаменную вдоль и поперек. Посмотрел Царь-колокол и Царь-пушку, походил по соборам, побывал в Чудовом монастыре, где у отца был знакомый по Пензе архимандрит Паисий. Принял он нас как родных. Даже у него в келье попили мы чайку с вареньем и с медком и с знаменитыми чудовскими просфорами, которые теперь были бы таким деликатесом, о котором и мечтать не можно. Останавливались мы на Старо-Шуйском подворье, где приставали пензяки. Помещалось оно где-то в Китай-городе около Никольской улицы. Побывали мы и в старом гостином дворе в сундучном ряду, где также у отца был большой приятель Павел Давыдович (фамилии вспомнить не могу). Описывать Москвы и старых рядов, где еще тогда фабриковались совершенно по домашнему «гуслицкие» ассигнации, пока не буду, но не могу не вспомянуть многознаменитую купеческую старорядскую закусочную. Спуск в нее, в подвальный этаж был, как раз, из сундучного ряда. Какая там была вареная рыба!—осетрина, белуга, севрюга; и еще более знаменитая, по тому времени, московская ветчина, при воспоминании о кото-

---

как главный виновник беспорядков, происшедших в этот день в тюрьме". Таким образом, неожиданно оказалось, что Боголюбов, посаженный по приказанию Трепова за неотдачу ему чести в карцер, потом высеченный, оказался виновником беспорядков, возникших во время и после расправы с ним, а не тот, кто отдал, вызвавшее беспорядки распоряжение, т. е. не Трепов, и не те тюремные надзиратели и стража, которые демонстративно показывали заключенным, особенно женщинам, заготовленные ими в огромном количестве пучки розг, поясняя мимикою, что они приготовлены для всех подследственных арестантов.

рой теперь даже утробная слеза прошибает: горячая, точно дышащая благоухающим салом. Разрезывал ее подающий половой на кусочки, а ели—кто просто руками, а кто деревянными спицами раздаваемыми посетителям. Кажется дорого бы дал теперь, если бы съесть хоть кусочек. Слюнки текут. Кроме Шуйского подворья других пристаниц я в Москве не знал. И вот когда весною 1860 года экзамены с первого курса кончились довольно рано и я благополучно перешел на второй курс, я собрался в Пензу на побывку. Думал, что найду в Москве товарищей по гимназии и вместе с ними проследуем домой.

Потащился я по железной дороге, а тогда поезда ходили со скоростью, вроде нынешней—с темпом «медленно поспешай». До Москвы ехали мы почти двое суток. Приехали уже под вечер в сумеречное время. Вышел я из вокзала; нанял «Ваньку» на дребезжащих дрожках на Шуйское подворье. Взял он с меня целых *сорок* копеек, говоря что далеко; да и мне самому помнилось, что на вокзал ехали мы с отцом долго: Москва ведь «дистанция огромного размера».

Отъехали немного, и возница очевидно догадался какого он не приспособленного еще к жизни юнца везет, а был он, надо думать, из московских «жуликов» особой человеческой разновидности, однородной с питерскими «мазуриками». Обернулся ко мне да и говорит: «а где барин будет подворье, я ведь дороги не знаю?» Вопрос был несомненно мудреный. Как я ему буду показывать или объяснять дорогу, которой сам не знаю? А он обернулся ко мне и с самым добродушным видом говорит: «да вам зачем нужно на подворье?» Я пояснил, что мне нужно остановиться дня на два, приискать попутчиков и ехать на побывку домой. На это он, казалось, вполне просто ответил: что, где подворье он не знает, а может меня представить в хорошие меблированные комнаты, где я получу номерок не дорогой. Я разумеется согласился, да и выхода у меня другого не было.

Так и поехали. Повозил он меня еще минут двадцать, привез. Получил я комнатку довольно большую, не грязную, за 1 рубль и расположился на ночлег. Утром подхожу к окну, гляжу, а передо мною на весьма недалеком расстоянии Николаевский вокзал! Комнаты помещались, как оказалось, во втором доме по направлению к Красным воротам, по дороге где нынче Рязанский вокзал. Вот так фунт! Жулик проявился на высоте своего призвания, объегорил. Делать нечего. Спросил номерную, прислуга была женская, как пройти на Арбат и отправился по квартирам студентов, с которыми думал ехть в Пензу.

Потерпел второй афронт: оказалось что в Москве экзамены кончились еще ранее Петербургских; все уже разъехались.

Что тут делать? Поехал в старые гостиные ряды, в сундучный, к Павлу Давыдовичу, пораскинуть умом. Порешили с ним

отправиться мне на «Рогожское»; поискать там попутчиков на на Пензу, так как там отправный пункт едущих в том направлении, по сходным ценам. Так я и сделал, поплелся на «Таганку». (Думаю, что наименование сего урочища есть основа и нашего прозвища: Таганцевы с Таганки; несомненно вроде титулов многих немецких баронов: Пилер фон Пильхау, Варнгаген фон Ензе и т. д.; так и мой дед по отцу выехал из Москвы, а там жительствовал в сей многоизвестной местности, и тем потам жительствовал, полагаю, в сей многоизвестной местности, и тем положил корень моего „Stamm Name“.

Приехали на площадь. Стоит там целая куча праздных антрепренеров путешествий, так сказать первообраз конторы Куковских дилижансов.

Спрашиваю: «нет ли попутчиков на Пензу? Толпа окружила со всех сторон и загалдела: «как не быть—они есть!» Так и ёкнуло мое сердце. Уже вижу начали метать обо мне жребий, кому я достанусь; кажется, таскали из картуза медные копейки и пятаки с разными зазубринами. Счастливый жребий достался какому то толстому, кривому, засаленному субъекту. Все прочие, вдосталь наругавшись, по всероссийскому приему поминания родительниц, угомонились, и он завладел мною, как жертвою, влекомою на заклание. Отошли в сторону. На мой вопрос: «есть ли попутчики»? он ответил уверенно: «есть, но прежде надо бы сделку спрыснуть». Я тоже слыхал, что всякая сделка требует магарыча и покорно последовал за ним в трактир, тут же на площади. Заказал он пол-порции московской селянки и графинчик водки. Я тогда еще водки совсем не пил и только участвовал в угощении селянкою, а он выпил рюмок, настоящих «двупальных», пять—шесть и заметно захмелел. Объявил, что попутчики завтра соберутся на площади у части—будут ждать меня и как я подъеду, так он всех завтра же и отправит в дорогу. Я совершенно успокоился, и в самом благодушном настроении воротился в свои номера.

На другой день, рано утром собрал свой чемоданчик и потащился на Таганку. Кто знает Москву, тот смекнет какой конец надо было мне сделать от Николаевского вокзала до Таганской площади, а для незнающих скажу, что это составляло во всяком случае не менее десяти верст. По подвигаясь по немногу, ныряя с горы на гору, проехали мы все эпические места, сохранившие еще тогда исторические названия времен Иоанна Грозного. Проехали мы и «Вшивую горку», и «Каменщиков», и «Гончечников» и «Швецов» и иных им подобных.

Приехали наконец на площадь. Стоит и галдит та же толпа, а моего кривого не видно. Спрашиваю где он и называю его прозвище.—В ответ слышу хохот. Что за притча? Молчат, а хохот пуще. «Ты его барин не жди, сидит в части, он после тебя напился, подрался да и угодил ночевать в часть». «А где же—

спрашиваю—его седоки, с которыми я должен ехать? Они должны были собраться на площадь». Хохот еще пуще. Слышу: «какие тебе седоки! давай опять жребий метать кому ты достанешься». Я совсем сконфузился. Тут какой-то постарше, степенной наружности, обратился к гогочущим: «да что вы, охальники, настоящее жулье, видите, что барин попался молодой, так и озорничаете». Потом, обратясь ко мне, говорит: «Никаких у них седоков нет, а у вчерашнего толсторылого и лошадей нет, только и живут тем, чтобы кого-нибудь объегорить, да сорвать на выпивку». На мои слова: «что же мне делать?»—«въезжай на постоялый там и сиди, да и жди, когда найдется случай». Пришлось так и поступить, въехал на постоялый двор, там и поселился.

Пробыл я там дней пять, исходил я все окрестные исторические улицы и места, всего чаще бывал в Донском монастыре. Любовался оттуда действительно удивительным видом на Москву, с ее сорока-сороков церквей, на Кремль злотоглавый с его в высь к небу подымающейся колокольней Ивана Великого.

Наконец кажется, на четвертый день судьба сжалилась. Оказался ямщик из под Пензы. Кого то привез на паре лошадей, на долгих, а теперь действительно возвращался обратно. У него уже был один седок, приказчик из Пензы, а я буду другой. Брался проезжать в день верст сорок—пятьдесят. Доставить с ночевками и кормежками дней в четырнадцать. Отправляться решили на другой день утром. Утром он действительно приехал и заявил, что кроме главных путников-приказчика и меня, едущих до самой Пензы, он прихватил еще седоков по близости до Коломны и до Рязани. Прихваченных оказалось однако не мало: один какой-то разночинец до Рязани с двумя детьми, мальчиками 12 и 13-ти лет, а остальные в разные места по дороге. Многовато, да это еще не беда. В тесноте, да не в обиде. Мы с приказчиком, как главные пассажиры, заняли места в глубине под навесом рогожной кибитки, а прочие разместились на передке и вокруг по наклесткам, как в грибной год на поляночке маленькие грибочки, вокруг матерых—белого-боровика или красного; всем нашлось место. Помолились на Кремль и тронулись к рязанской заставе. Но тут то и началось новое злоключение. Один из спутников, рядчик из плотничной артели, здоровый мужчина, оказался приверженцем Бахуса. Очень скоро по отправке он о чем то пошептался с ямщиком и кибитка направилась к уютному дому под елкой, символический признак откупного кабака. Ну думаем, ничего, отведут душу, веселее поедем. Остановка короткая. Тронулись дальше. Отъехали еще немного, а там опять такая же изба с приветным знаком, кибитка к нему и опять та же история. Да так и пошло. А как на грех на этом выезде таких расстанных домов, великое множество. На самой границе города Москвы кончался городской от-

куп, а там далее шел уже новый, уездный, и елок изобилие полное, целые рощи. Рассчет верный. Русский человек известно слаб: если не соблазниться одной, то потянет к другой, не клюнет и эта, то наверное не выдержит третьей приманки. Удильщики рыбы, аматёры, хорошо и нынче знают эту систему уловление несчастных легкомысленных окуней или ершей, подставляя им ряд закинутых поплавков. Но наши спутники оказались весьма податливыми, и чтобы никого не обидить останавливались у каждого призывного знака и выпивали по чаре зелена-вина.

Последствия были надлежащие. Рядчик очевидно был человек крепкий, держался стойко на ногах, не теряя сознания, а возница, что называется размяк, назюкался совершенно; и притом пришел в настроение бурное. Заплетающимся языком объявил нам, что он спать хочет и дальше не поедет! А отъехали мы не более версты от Рогожского. Что тут делать? Посоветывались промеж себя и порешили: извозчика связать и уложить в кибитку, пусть проспится, а самим ехать далее. Так и сделали. Стянули его кушаком и веревками и поместили на наши места, где он немедленно и захрапел.

Дальнейшая дорога прошла без приключений. К Рязани выпустили мы часть дополнительных пассажиров и остался с нами только отец с двумя мальчиками. У одного из них оказался красивый голос—высокий дискант и прекрасный слух и он доставлял нам большое удовольствие. Особенно у меня запечатлелась в памяти, слышанная мною тогда в первый раз, а ныне весьма известная народная песня:

Вниз по Волге-реке
С Нижня-Города
Снаряжен стружек,
Как стрела летит.
    Как во том, во стружке
    Удалых молодцов
    Сорок два сидят.
Как один ли из них
Добрый-молодец
Закручинился, пригорюнился.
Ах вы братцы мои, вы товарищи.
Киньте бросьте меня во сине-море [1]) и т. д.

С Рязани поехали мы уже только вдвоем, и на одиннадцатый день благополучно добрались до последней станции к Пензе. От нее недалеко,—верстах в шести была деревня откуда ямщик и он свернул туда. Там заночевали.

[1]) В Казани по словам профессора Батюшкова пели последний стих „в Волгу матушку„.

На другой день он заявил, что сам он в Пензу не поедет, устал от пути, а нас повезет его жена. Как ни спорили мы, ни бранились, находя что такого срама, въезжать в город с бабой на облучке, нельзя допустить, не действовало. Вспоминаю, что особенно волновался я: уговаривал даже приказчика бросить возницу, расплатиться, а самим нанять вольного ямщика и въехать в город заправски. Но на этот счет мой спутник оказался неподатлив. Пришлось подчиниться.

Въезд в Пензу с рязанского тракта очень авантажен для города. Перед глазами весь город на горе, а направо также по горе идет лесная «Засека», Историческое название, так как сама Пенза основалась в 1666 году при царе Алексее Михайловиче, как укрепленная «засека» против татарских и ногайских набегов. Дубовая роща по хребту, тянувшеся до казенного сада, была ежегодно поедаема червями и летом большею частью смотрела очень печально, но весною зеленела—красиво.

Въезд был в Пензу через «Пешую Слободу» многоизвестную тем, что она, населенная казенными крестьянами, каждый год выгорала, а потом на казенный счет застраивалась. Потом нужно было проезжать против тоже местной известности «Вопилы кабака», так прозванного потому, что стоял он рядом с огромною клоакою—болотом из черноземной грязи. Это была такая зловонная гуща, что редкий экипаж мог проехать ее свободно, а нагруженные помещичьи возки, а Пензенская губерния была настоящее помещичье гнездо, и рыдваны четверкою лошадей в ряд, нагруженные чуть не до верху перинами, на которых покоились проезжающие бары с домашнею провизиею и всяким скарбом, обязательно застревали. Тогда проезжающие начинали звать на помощь, так сказать *вопить*, и из кабака вылезали пребывающие там, как бы на дежурстве, непротрезвлявшиеся пропойцы, уподоблявшиеся, так сказать, пауку-крестовику, притаившемуся в уголку раскинутой им сети и ожидающего злосчастную добычу при легкомысленном пролете завязавшую в его хитроумной западне.

В Пензе много было таких урочищ, отмеченных местными преданиями. В центре города, например, как раз недалеко от вросшего в землю и покрытого плесенью старого домика моей бабушки, где я провел мое детство, в переулке ведущем в Поповку показывали место, где стояли еще относительно не особенно давно, на памяти старожилов, например, проживавшей у нас старухи—няни моей матери и дядей, «пугачевские виселицы».

Да и самый то город Пенза, как известно был заклеймен народными прозвищами. При чем во-первых почему то звали пензяков, «пензяки-толстопятые», хотя никаких анатомических особенностей этого рода у моих сограждан да и теперь, напри-

мер, у меня, не усматривается. Было также закреплено за Пензой мифическое предание пересмешников, что будто «пензяки в Москве свою ворону узнали». А дразнили их так злые языки, будто бы потому, что простодушные пензяки забрались как то в Москву-белокаменную поклониться святым угодникам, пришли в Кремль к Успенскому собору, да и загнули кверху на Ивана Великого свои головы, в особого рода головных уборах, в виде усеченного конуса, напоминающих продовавшиеся у нас на базаре «гречевики» или «гречишники» из ржаного теста, которые вместе с гороховым киселем, тут же вкусно поедались с постным конопляным маслом, да и говорят один другому: «Ванюха мотри на колокольню, ведь никак вороны то наши»? Чего ведь не придумают брехуны! Да так и пустили нас бедных по белу-свету с отметкой.

Но как бы то ни было вернулся я на побывку и подъехал к новому бабушкиному дому, отстроенному после пожара 1858 года не на Московской, а на Троицкой улице, бок о бок с женским монастырем (когда нибудь соберусь написать воспоминания и о нем) к величайшему моему конфузу с бабой на козлах!

Таково было мое злоключение при первом знакомстве с жизнью. А все таки хорошо было вспоминаемое время! Была пора молодости, расцветающей жизни! Подъем надежд.

Также полна впечатлений была и вторая моя поездка на каникулы.

В 1860 году по Владимирской дороге с обозом в качестве клади за четыре пуда со всем моим багажем, по рублю за пуд; причем под моим водительством был отдельный воз, а я сам и до сих пор с наслаждением вспоминаю об этом переезде, когда, под ароматы распускающейся весны, я, сидя на передке моего воза, читал первый том «Юридических Записок» Редкина и Яневич-Яневского, и под вешний ласкающий воздух смаковал статью К. Д. Кавелина о теориях владения. Пели соловьи, в особенности при восходе солнца, когда обоз трогался в путь; но не могу не прибавить в качестве добросовестного вспоминателя, что уже и тогда, проезжая Муромским лесом, я не встретил и не слыхал посвиста Соловья-разбойника; нужно думать, что он тогда уже покинул матушку Русь и улетел за тридевять земель. В эти длинные передвижения я хорошо познакомился не только с природою, но и с этнографическими и социальными особенностями центральной России; в частности вспоминаю, что в эту вторую поездку меня особенно поразила еда ямщиков, которые распоясывались, так сказать, во всю. Поражала эта еда меня после петербургских обедов в кухмистерской Мазановой на Большом проспекте Васильевского Острова, около Андреевского рынка, где я проживал и питался в 1861 году, и где нас, правда, только за двадцать копеек, кормили и по тому времени доста-

точно убого, преимущественно подозрительными фразами. Постоялые дворы по московско-владимирскому тракту были привольные, и мои спутники наедались как будто на весь год. Обыкновенно бывало четыре-пять перемен, а в воскресенье и шесть, и всегда два варева, причем одно с убоиной. Ели мы все из общей миски, деревянными ложками; ножей и вилок, конечно, не было. Меня всегда ставили маткой, очевидно, потому что хотя я и был очень молод, мне было тогда семнадцать лет, но за то руки мои были относительно чистые. Моя обязанность была разрезывать, а иногда и просто разрывать говядину по маленьким кусочкам. В воскресенье к обеду прибавились пироги с мясом. Взимали за обед, не могу теперь точно припомнить, по семи или по восьми гривен. С меня брали вполовину, вероятно в силу того, что я съедал менее, чем на половину. Но отчетливо помню, что за обедом водки не было, и вообще ни один из спутников во всю дорогу пьян не был. Может быть потому, что они были по старой вере, а тогда староверы водки не употребляли.

Но и путешествие по Волге в 1877 году доставило мне тоже большое удовольствие. Я ехал в разгар сенокоса с его благоуханиями. Ехал со всеми удобствами, лакомился за завтраками и за обедами стерлядками, тогда еще не пропахнувшими нефтью и не по тем безумным ценам, как в настоящее время. Любовался я ласкающим видом Жигулей (сделал даже прежде Жигулей маленькую экскурсию на два дня из Васильсурска в курмышский уезд к моему учителю и другу по пензенской гимназии Владимиру Ивановичу Захарову, пострадавшему по «Каракозовской истории», в которой большинство участников сообщества «Ад» были его ученики, а мои сотоварищи).

Вспоминая об этом самом дорогом мне человеке, моего гимназического курса так двинувшем мое умственное, да пожалуй и нравственное развитие—о Захарове, я не могу не вспомнить еще о другом учителе об Ульянове. Когда нибудь я может быть соберусь и набросаю памятный очерк всего моего гимназического периода попробую вспомнуть о моих учителях и воспитателях. Но для Ульянова делаю исключение, потому что это воспоминание связано с одним обстоятельством, которое имеет, думается мне, некоторый интерес для современности: «довлеет дневи злоба его», Ульянов прибыл в Пензу почти одновременно с Захаровым, кажется немного ранее; бывал я у него на дому, познакомился и с его женою; но отношения наши не были такими близкими, как с Владимиром Ивановичем, главным образом потому, что когда я приезжал после в Пензу студентом, то Ульянова там уже не было; он перешел в Симбирск, где также был сначала учителем, а потом инспектором, и личные наши отношения порвались. Слыхал я потом

потом о нем от Кадьяна, который знал его и его жену во время своей подневольной высылке в Симбирск после оправдания по процессу 193-х. Отзывы Кадьяна были о них весьма сочувственные. Но я, что называется потерял Ульянова из вида.

Шли годы; сделался я уже профессором и вот в 1883 г. когда было произведено посягательство на жизнь Александра III, мне стало известно, что одним из главных обвиняемых является студент нашего университета «Ульянов». Мне и в голову не приходило, что он из блиской знакомой семьи, сын моего бывшего учителя. Лично я его не знал; он был другого факультета, но слыхал о нем, как об умном, выдающемся студенте. Таким и обрисован он в воспоминаниях И. М. Гревса (Былое, 1918 г.). Был я и на его процессе, просидел с начала до конца и с болью на сердце выслушал присуждение его в числе других к смертной казни. Вспоминаю, что из соподсудимых он производил наиболее симпатичное впечатление, как искренне преданный тому делу за которое он шел на казнь; тем идеям осуществление коих, хотя бы и путем террора, он считла необходимым для счастья и блага родины.

Воротился домой, по Кирочной ул. д № 3, где я тогда жил. Вечером мне докладывают, что пришла какая то дама, прошу ко мне в кабинет, входит пожилая особа, которая обращается ко мне: «Николай Степанович вы меня не узнаете? и на мой уклончивый ответ, что не могу припомнить, она говорит: «да ведь я Ульянова, в Пензе вы у нас бывали. Я тотчас же ее припомнил, но она была в страшном волнении и в слезах; с нею был небольшой мальчик гимназист. «Да ведь сегодня судили моего сына за посягательство на жизнь Государя»! Меня как обухом по голове хватило. Я весь был еще под страшным впечатлением выслушанного приговора. «Ради Бога помогите; мне сказали что вы это можете: я хочу увидать моего несчастного сына, а меня не пропускают, отказывают". Я долго пытался отговорить ее, вспоминая горькую и страшную истину, о которой она услышит!

Но она продолжала настаивать и я не мог не уступить. С болью в сердце написал я записку Эдуарду Яковлевичу Фуксу, который тогда был прокурором судебной палаты, и от которого зависело разрешение свидания.

Так она и ушла.

На другой день она опять приходила ко мне, но меня не застала и как сообщила мне жена, которая ее видела, произвела на нее потрясающее впечатление, когда каким то страшным шопотом она сказала: «сына я видела, ведь он присужден к смерти». Мальчика при ней не было.

Который это был из двух братьев казненного Ульянова: младший ли, ныне стол громко-гремящий по всей Руси—*Ле-*

нин-Ульянов, или же средний брат: с точностью сказать не могу, хотя и думаю, что средний.

Полагаю, что этот рассказ для многих из читателей покажется не лишенным интереса.

Другая заметка относится к моему проезду, о котором я уже упоминал, из Васильсурска к В. И. Захарову в его почти что дачку «Каменку» около большого имения графа Левашова, которым он заведывал. Ехали мы по берегу реки «Пьяной». Я и спросил ямщика: «отчего ее так прозвали? Ямщик обернулся ко мне и говорит: «а ты барин посмотри на цее, так нешто она не пьяная?» И действительно, реченка на сколько можно было ее проследить в даль, делала самые невероятные изгибы и загогулины, хотя текла *безусловно* по ровной местности: так мог колобродить только пьяный человек, выделывающий вензеля и вавилоны. Да, так метко заклеймить, как у Гоголя, Плюшкина эпитетом «заплатанный», может только русский человек своим метким не отлипающим словом, искрометными блестками родной, еще неисковерканной фабричным жаргоном, речи. У Захарова я пробыл дня два, играли в крокет, ели суп из карасиков, изловленных у него же во дворе в пруде, вообще благодушествовали.

Дорожных сцен и картинок описывать не буду, но не могу не вспомнить, во-первых, об одном казусе, весьма характерном по сравнению с условиями путешествий в более близкие к нам времена.

В Москве с вокзала я заехал в «Славянский Базар», думал привести себя в порядок и пообедать. Занял номер. Тотчас же пришел дежурный и попросил паспорт. Я полез в боковой карман, вытащил пачку бумаг, но увы, паспорта не было. Я тотчас же смекнул, что ошибкою захватил вместо паспорта условие о найме дачи, а отпуск забыл; но однако не потерялся и сказал, что, очевидно, отпуск у меня в чемодане, что я сам принесу в контору, как только умоюсь, а потом заявил в конторе, что я, по видимому, ключ от чемодана потерял, и так как я сейчас уезжаю из Москвы в Нижний, то посылать за слесарем не стоит. Так я паспорта нигде и не предъявлял. Затем все дальнейшее путешествие со всеми остановками я совершил без всякого вида, а ведь это было время, когда по Волге только что окончился жандармский погром, и я притом же должен был совершить в Николаевске ряд официальных актов.

Продолжаю описание поездки.

Наконец, прибыл я в торговую пристань на Волге, в Балаково.

Из Балакова я выехал в Николаевск под вечер. Закат не предвещал ничего угрожающего, но утром картина изменилась и на меня обрушился страшный степной ливень, превративший моментально пыльную степь в грязную лужу, а меня из путешествующего джентльмена в легком желтом пиджачке,

ехавшего в открытом экипаже, проще говоря, в телеге, в какое то животное желто-грязного цвета с комочными наростами липкой грязи. Весь авантаж приезжего столичного денди был утрачен. А мне еще перед Николаевском нужно было заехать в имение знакомых Кадьяна Карповых—Марьевку, верст десять от города, и по рассчету времени там переночевать. Что делать, с Богом спорить не приходится: «Смертный силе нас гнетущей покаряйся и терпи».

Доехали до Марьевки.

Но и тут не обошлось без маленького приключения. Подъехали мы к «Марьевке» тоже под вечер, барский дом стоит точно на пустыре, среди бурьяна; кругом почти нет обычных помещичьих служб, только сарая два-три; нет кругом забора; неслышно даже обычных сторожей—голосистых псов. Подъехали прямо к подъезду. Во всем доме тишина самая полная, хоть час был весьма не поздний; в доме ни одного огонька. Стучали, стучали—ничего не помогает. «Ишь ты, разоспались» пробурчал ямщик, но вместо того, чтобы ехать далее, он, ничтоже сумняшеся, усмотрев в одном из окон открытую форточку преспокойно влез на окно и полез в комнату. Это подействовало! Очень скоро послышался говор; засветился огонь, отворилась парадная дверь и показалась какая то старуха. Оказалось, что молодой барин уехал в Николаевск на выборы, а дома осталась ключница и старая прислуга. Меня не только впустили, но даже дали что-то подзакусить, и я прекрасно выспался.

За то следующее утро было ярко солнечное, когда я въезжал в Николаевск. Город имел в то время невзрачный полу-европейский, полу-азиатский вид. Раскинут он в широкой степи на очень большой площади, хотя в нем было всего тогда около семи тысяч жителей. Огромная базарная площадь, посреди города, куда приезжали продавцы даже на верблюдах; кругом несколько улиц с маленькими деревянными домиками, достаточно грязные, немощенные. На площади,—посредине огромная лужа или болото, в этот раз, после дождя, глубокая, но, повидимому, вообще просыхавшая только в самые сухие месяцы. По крайней мере мне передавали местную легенду, что несколько лет тому назад городничий возвращался домой *из клуба* в собственном экипаже, но когда кучер приехал домой, то оказалось, что барина нет: по дороге выпал из дрожек в лужу и в ней захлебнулся.

При въезде в этот богоспасаемый град возница обернулся ко мне с вопросом: «к кому ехать?» Я ответил, что у меня знакомых нет, въезжай в гостинницу. Он, по общему свойству российских ямщиков того времени, ничего не ответил, как будто понимая, взмахнул кнутом, и мы шибкою рысью выехали на площадь. Там, обернувшись опять ко мне, он сказал: «А ведь

гостиницы для приезжающих у нас нет». На мой вопрос, где же приезжие останавливаются? он ответил: «Дворяне—вон там», и показал на той же площади небольшой двухъэтажный домик (кажется, это был чуть ли не единственный двухъэтажный дом в городе). У него, как раз у подъезда, стоял дорожный экипаж, и в него вносили вещи. Я подумал, что может быть это меблированные комнаты, и велел подъехать. Поднялся по лестнице во второй этаж. На верху, на площадке стоял какой-то пожилой господин высокого роста в пиджаке. Я обратился к нему со словами: «Извините, пожалуйста, мне бы комнатку надо. К кому обратиться?» Он сделал величественный жест и, показывая пальцем на себя произнес: «Я—здешний предводитель дворянства», и ушел по коридору.

Я остался в недоумении, что же мне делать. Тут же стоял какой-то лакей. Он, видя мое замешательство, довольно участливо спросил: «Да вы откуда будете?—«Я, из Петербурга!»—«Из Петербурга?»—добавил он с некоторою уже почтительностью,—ну и в камуфлет же вы попали!» Что он хотел этим сказать, я себе представить не мог, но спросил, а куда же мне деваться?—«Не знаю. Теперь в городе земские выборы, и много занято приезжими, а вы бы попробовали, нет ли комнатки в трактире. Так я и сделал, велел ямщику ехать в трактир; получил там под лестницею в мезонинчик маленькую конуру, рядом с биллиардною. Отдал почистить грязное платье, переоделся. Столкновение с предводителем особенно смущало меня потому, что именно через него я должен был собрать некоторые нужные для защиты данныя, а его-то я так неудачно рассердил.

Но опасения мои оказались напрасными. Минут через десять явился в трактир Михаил Андреевич Карпов, в дом которого я заезжал накануне вечером, юноша лет двадцати, веселый; вошел с громким смехом (теперь уже, увы, не юноша, а почтенный отец семейства лет под 60, но до последней московской голодовки съумевший сохранить ту же наклонность к добродушному юмору). Мы познакомились, и он сообщил, что из-за меня вышла большая булга. Что когда в собрании ему предводитель сказал о моем приезде и о том, как он меня встретил, то он его огорошил сообщением, что я—генерал, известный професор, а главное, что я преподаю великому князю, бываю во дворце и так далее,—так что Теняков испугался, послал к себе за мундиром, и что он сейчас явится и будет звать переехать к себе в дом. Я упросил его сейчас же ехать назад и уговорить Тенякова не делать этого, что я сам приеду в собрание, только заеду в клуб напиться чаю и закусить—так я и сделал. Оказалось, что и Теняков и другие земцы, с которыми я познакомился, отнеслись ко мне чрезвычайно радушно. В клубе неожиданно оказался

даже мой ученик, исполняющий обязанности судебного следователя, вследствии чего мне пришлось даже в те немногие дни, которые я провел потом в Николаевске принимать участие в производимых им судебных действах, участвовать при производстве им следствия по какому-то делу при вскрытии трупа, в каком качестве сказать не берусь, хотя в актах следствия даже значусь, как единственный свидетель, так как я не был ни экспертом, ни защитником, ни обвинителем, а разве только кассационным поводом, к которому производивший следствие относился с любящей почтительностью, вспоминая в далеком захолустье общую alma mater — и незабываемые перепевы: vivat cademia, vivant professores, может быть вспоминая в этот миг единения молодого ученика с молодым профессором: «золотые грезы счастья, дорогие дни свообды!

Все вспоминали Кадьяна, говорили о нем с большим сочувствием, и я потом добыл легко все то, что мне было нужно. Осмотрел я арестантский дом, из которого по обвинительному акту предполагался побег будто бы больных арестантов, в содействии коему обвинялся доктор Кадьян; собрал официальные доказательства, что решетка в тюрьме была снята, в виду летней духоты, в женском отделении, а побег, по обвинительному акту, предполагали будто бы сделать арестанты из мужского отделения; добыл скорбные листы и копии из рецептурной книги и т. д., а главное, перевидал многих местных жителей, которые согласились приехать в Петербург, чтобы свидетельствовать о деятельности Кадьяна, как врача, и как лица, кормившего во время самарского голода семьсот душ крестьян;— одним словом, собрал все то, что было представлено мною потом на судебном следствии, и что послужило основанием для оправдания Кадьяна по всем взведенным на него обвинениям.

Конечно, не могу сказать, чтобы в эти четыре дня, которые я провел в Николаевске, я изучил или даже познакомился, с его так называемой интелигенцией, о которой впрочем я имел заочное представление из писем Кадьяна; но одно могу сказать, что видел воочию, невероятное пьянство, разделяемое тогда Николаевском, увы, со всею матушкою Русью.

Внизу это водочное спьянение—шумящее, кричащее—на площадях, на улицах и на базарах; наверху—более прикрытое, более полированное, водочно-винное. Кто его не помнит? Я приведу несколько местных данных. Во-первых, своеобразный обычай, усмотренный мною уже в первый день пребывания в Николаевске, утром, при посещении клуба. Как только приходил новый посетитель, то клубный лакей, не спрашивая, и не получая никаких требований, немедленно обходил *всех* присутствовавших с подносом, с разлитою в рюмках водкою, и все желающие чокались с пришедшим; а так как приходили по оди-

ночке, и пришло, по крайней мере, человек двадцать, то можно себе представить, что выходило из такой прелюдии к завтраку; в особенности для более ранних гостей. Во-вторых, я видел образец любопытного экипажа специально для развоза гостей от «Амфитриона предводителя», линейки, имевшей форму так называемого «tête-a-tête» будуарной мебели стиля восемнадцатого века. В один загиб сажали отъезжающего гостя, а в другой—казачка, который должен был, обвивая рукою грузного или, вернее, нагрузившегося посетителя, довозить его, без потери равновесия, до дому. В-третьих—познакомился с самим предводителем. Он трижды выбирался предводителем на трехлетия; в бытность им спустил свое личное состояние, два порядочных доставшихся ему наследства, и, наконец, остался при любовном отношении к нему местного дворянства и при страшной болезни печени, несмотря даже на его крепкий организм. Уговаривали его дворяне, советовали доктора, отправиться в Неметчину, в Карлсбад или Мариенбад, попить во̀ды; но он ссылался на безденежье. Тогда дворяне по едкому замечанию того же Карпова, из земских сумм уделили порядочные деньги, и, наконец, отправили предводителя на излечение в Карлсбад. Прошло недели две-три, и вдруг объявляется Теняков обратно и с грустью заявляет, «что он до Москвы доехал благополучно, но попал к Тестову и, вместо заграничных курортов, оставил все собранное в Москве». Теняков также хотел приехать свидетелем по делу Кадьяна, но так и не приехал.

4. Обрывки из процесса 193-х.

Я не предполагаю дать сколько-нибудь подробный отчет об этом процессе-монстр. Даже не буду говорить подробно о главных его фазах. Высидел я в заседаниях с 18 октября 1877 года по 23 января 1878 года, то есть три месяца и пять дней. Могу похвастать только тем, что пропустил очень мало заседаний; бывал на них даже тогда, когда рассматривалось обвинение других групп, к которым Кадьян не принадлежал, так как надеялся получить из показаний свидетелей хоть несколько крупиц, которые годились бы и для разбора выставленных против него улик. В особенности вспоминаю первые заседания, когда в зале собрались все подсудимые, истомленные многолетним сидением по различным тюрьмам; многие из них не видались друг с другом несколько лет. Вспоминаю заботы и старания судебных приставов водворить какой-нибудь порядок среди жужжащих, как улей пчел, подсудимых. Не могу также не упомянуть о вполне корректном, мягком отношении ко всем участ-

никам процесса председательствовавших сенаторов—Петерса и особенно Константина Карловича Ренненкампфа. Вспоминаю особенно тяжелое положение, создавшееся как раз при рассмотрении той группы, в которой был и Кадьян, когда подсудимый Мышкин сказал свою крайне возбужденную речь, а подсудимый Стопане в то же время, забаррикадировав собою верхнюю скамейку, где сидели трое из обвиняемых, выкрикивал, обращаясь к сенаторам, разнообразные ругательства; жандармы бросились с обнаженными саблями на верхнюю скамью, чтобы добраться до Мышкина и вывести его из зала. Я и теперь отчетливо помню, как я обернулся к сидевшему сзади меня на нижней скамье Кадьяну и гладил его по голове, как малого ребенка, стараясь его успокоить. В публике, думавшей, что жандармы пустят в ход обнаженные сабли и польется кровь, начались истерические крики и я слышал среди них дрожащий голос моей покойной жены. Когда удалось прекратить эту сцену, я, вместе с некоторыми старейшими адвокатами, пошли в комнату, куда удалились сенаторы, и стали убеждать их не прекращать рассмотрение дела в общем гражданском порядке, как предлагала обвинительная власть, и не передавать дела в военный суд. Помню, что наши убеждения подействовали, и процесс продолжался так же, как начался.

Последние недели процесса имели еще одну особенность. Между подсудимыми началась большая смертность, и почти каждое заседание начиналось с того, что кто-нибудь из защитников заявлял присутствию, что такой-то обвиняемый, которого он защищал, скончался. Эти заявления производили энервирующее впечатление, взвинчивали нервы. Атмосфера процесса, уже к началу прений, была насыщена электричеством. Обвинитель к тому же повел обвинение в слишком страстных и, позволю себе так выразиться, в слишком личных тонах. Мы не слышали в нем защитника справедливости и законности, как того требовали судебные уставы, у него не было и попытки итти по следам таких высоких представителей «стоячей магистратуры», как Громницкий, Кони,—не было даже тех сдержанности и умеренности, которые проявляли обвинители средней величины. Он почти игнорировал изменения, которые внесло в обвинение судебное следствие. Да, по правде говоря, он в нем и принимал-то весьма слабое участие. Он повторял и даже иногда сгущал те фантасмагорические картины обвинительного акта, которые не только поблекли, но были совсем смыты перекрестными допросами на судебном следствии. Мало того, желчно увлекаясь, он иногда допускал частные прибавки к обвинению, для которых не было, собственно говоря, никакой почвы в судебном следствии, аллегорически выражаясь, вырабатывал факты из собственного духа. Оттого и защита, выражаясь вульгарно, ощетинилась и

петербургской адвокатуры; носители не только ее ума, но и сердца, как, например, говоря об отшедших, Потехин, Спасович, Владимир Герард, Турчанинов, Стасов и так далее.

Общий тон защиты усвоил и я. Я построил мои речи из двух частей. Первая, наиболее пространная, была посвящены разбору и опровержению фактической стороны обвинения Кадьяна, и думаю, что в этом отношении я имел полный успех, так как почти вслед за речью, последовало предварительное освобождение Кадьяна на мои поруки, а затем и полное оправдание. Другая Часть моих речей была посвящена, как в этом сходились все защитники, опровержению юридических построений обвинителя, в особенности его попытки подвести всех обвиняемых под понятие шайки, так как он, конечно, не мог доказать, что подсудимые сговаривались на ряд преступлений, т. е. на неоднократное ниспровержение в отдаленном будущем самодержавного строя, не мог представить существования между ними какой-нибудь, более или менее строго определенной организации с распределением ролей, иерархией, как требовало уложение о наказаниях, так как большинство подсудимых почти совсем не знало друг друга, а познакомилось в тюрьмах. И зайдя в дебри уложения о наказаниях о шайках, он договорился даже до логического абсурда организации без организации [1]).

Но ко второй моей речи я прибавил еще, заключительную часть об особенностях настоящего процесса.

Я окончил эту речь так: «Я—приходящий, так сказать, случайный элемент защиты. Это моя первая и, очень может быть, последняя защита; вот почему я считаю обязанным именно себя высказать несколько слов о некоторых особенных обстоятельствах, сопровождавших этот процесс. Вы, господа судьи, слышали и здесь на суде, и вероятно еще более вне стен суда, разнообразные укоры защите, укоры в страстности, горячности, с которыми она отнеслась к интересам подсудимых, вверевших

---

[1]) По поводу взгляда, высказанного обвинителем относительно понятия главных виновных я говорил в своей речи: „Закон требует, чтобы каждый отвечал только за то, что он сделал преступного; закон указывает, при каких условиях обвиняемый может быть назван главным виновным, при каких второстепенным, и не один суд не может установить эти градации произвольно или потому, что представитель обвинения назвал известное лицо главным виновником и не потрудился представить каких-либо доказательств такой его деятельности, которая-бы по закону считалась главной. Поэтому я, вместе с моими товарищами по защите, надеюсь, что вы не признаете главным виновным Волховского только на том основании, что он пользовался своим ореолом мученичества, Казачка и Добровольского—потому только, что они были медики, Франжоли, Каца, Треавинского—потому что они были учителями, Кувшинскую,—потому что она, по словам обвинителя, очень умна и т. д. и т. д.".

ей свою честь, свое доброе имя, свою будущность. Справедливы ли и в особенности, заслужены ли эти укоры?

«Много весьма различных обстоятельств объясняют ту горячность, с которой отнеслась защита к этому процессу с самого его начала. Вам, господа судьи, я думаю понятна эта страстность; вы, как и мы, познакомились с фолиантами дознания и предварительного следствия, вы высидели те три тяжелые месяца, когда производилось судебное следствие. Поймет эту страстность и русское общество. Поймет оно ее тогда, когда ознакомится не только с обвинительным актом, но и с стенографическим отчетом судебного разбирательства; когда оно будет в состоянии оценить не только обвинение, но и защиту; когда оно уяснит себе основания, по которым мы считали обвинительный акт и фактически неверным и безусловно несоответствующим тем требованиям, которые ставят обвинению судебные уставы.

«Припомните, г.г. судьи, что защите при первом же знакомстве с подсудимыми пришлось встретиться с лицами, измученными долгосрочным одиночным подследственным заключением; пришлось ознакомиться с повестью тяжелых страданий, смертей, сумасшествий; с повестью, которая продолжалась и здесь во время судебного следствия. Ведь едва ли найдется в летописях суда другой процесс, в котором бы существовал такой процент подсудимых, умерших во время самого судебного разбирательства. Вспомните это и скажите: могли ли люди, еще не успевшие зачерстветь сердцем, оставаться равнодушными? Далее, припомните характер, колорит обвинения; ведь ничего подобного не встречалось еще в русских политических процессах. Кроме обвинения в государственных преступлениях на подсудимых взводилось еще не менее страшное обвинение во всевозможных нравственных пороках; они рисовались людьми, для которых нет ничего заветного, готовых посягнуть на все священное для других, ради удовлетворения своих интересов, и это говорилось ни о тех или других личностях, а о всех огулом, выставлялось, как общая характеристика всех подсудимых. Опять повторяю, разве защита могла хладнокровно относиться к такой постановке вопроса? Разве эти обвинения, распространенные теперь, вследствии опубликования обвинительного акта в «Правительственном Вестнике», по всей России, доказаны? Нет, нет и нет! Вы видели, господа судьи, что все эти грязные и грозные фантомы, не исключая пресловутой киевской коммуны, исчезли бесследно.

«Наконец, нельзя забывать и того, что, как показало нам настоящее дело, здесь речь идет не только о тех ста девяносто трех подсудимых, которых вы видели перед собой, но о многих и весьма многих сотнях пострадавших. Следственный потоп 1873—1876 годов бурными волнами пронесся по всей России,

зацепил самые мирные ее закоулки, везде оставляя горе и беспокойство, загубленную молодость, разрушенную семейную жизнь. Вспомните только картины, которые рисовались здесь на суде свидетелями этого погрома! Разве защита могла быть спокойна при таких условиях?

«Да, она относилась горячо ко многим фактам, бывшим во время дознания, предварительного следствия; она неспокойно смотрела на то, как бы сказать, неподобающее отношение, в которое стал здесь на суде представитель обвинения к большинству свидетелей; она озлобленно отозвалась на ту роль и на то значение, которое придал обвинитель в своей речи доносчикам и шпионам. Но вы, господа судьи, сопоставите все то, что говорила защита с требованиям нравственности, долга и закона, сопоставите с принципами, которые начертаны для обвинения в судебных уставах, этом залоге будущности России, и вы поймете и не осудите нашу горячность и, конечно, не поставите ее на счет подсудимых, интересы которых, по мере сил и разумения, представляла защита» [1]).

5. *Неожиданные последствия оправдания В. И. Засулич.*

Унизительная расправа с Боголюбовым, так страшно подействовавшая на ближайших ее свидетелей, подследственных арестантов, как камень, брошеный в воду, стала захватывать все более и более широкие круги, всколебав такие слои, которые даже нельзя было заподозреть в революционных увлечениях. Всего сильнее, конечно, волновалась молодежь петербургская и дальногородняя, а за ней и все, в ком не иссякло чувство человеческого достоинства, потрясенные наглостью надругательства над беззащитным, не сделавшим по отношению к Трепову ничего преступного. Общественное негодование вскрылось 24 января 1878 года выстрелом В. И. Засулич в генерала Трепова во время приема им в градоначальстве просителей, и еще более—в последовавшем 31 марта того же года в петербургском окружном суде оправдании Засулич присяжными заседателями.

Хотя я и не был на процессе, не видел Засулич, но знал многих из близких к ней лиц, а в частности Александру Николаевну Малиновскую, в семье которой я бывал еще, когда Малиновская начала переходить из девочки-подростка, в взрослую, весьма спо-

---

[1]) По напечатании этих воспоминаний, бывший на этом процессе, помощник статс-секретаря Государственного Совета С. М. Латышев прислал мне письмо, в котором указывал на одну, по его словам, весьма важную подробность, опущенною мною. Он спрашивал, почему я не упомянул, что К. К. Ренненкампф после второй моей речи обратился ко мне от имени Особого присутствия Сената и выразил мне признательность за то, что я юри-

собную, но как и вся ее семья, нервно-болезненную девушку [1]. С Малиновской через много лет я встретился в Петербурге после оправдания Веры Засулич, случайно, на Невском проспекте, когда она жила в Кузнечном переулке, где и произошла известная стрельба в жандармов, делавших там обыск, повлекшая преданию суду и осуждение на каторгу Малиновской.—Но с самою Засулич я нигде не встречался до 1917 года, когда мы впервые сошлись на учредительном собрании общества «Декабристов», где председательствовала В. Н. Фигнер, и где мы были выбраны членами совета общества. Также не имел я касательства и к процессу над нею, но оправдание ее вызывает некоторые, не лишенные интереса воспоминания.

Оправдательный вердикт присяжных состоялся 31 марта. Вечером того же дня я получил уведомление от принца Ольденбургского, что он просит пожаловать к нему во дворец завтра (1-го апреля), к девяти часам утра. Мне уже неоднократно приходилось в училище беседовать с принцем по поводу почти каждого дела, вызывающего общественное внимание, причем он обыкновенно, ходя по рекреационной зале старших классов училища, считал почему-то необходимым делать мне выговоры по поводу каждого неправящегося ему решения присяжных заседателей, как будто от меня зависело введение этого института, и я мог иметь влияние на тот или другой исход процесса. Любимая его фраза была: «Я преклоняюсь пред Высочайшей волею, но ведь они—сапожники. Они хороши на своем месте, но какие же они судьи?» В этом отношении он разделял предубеждение против присяжных всех наших консервативных кругов, а в особенности придворных сфер. Не могу впрочем не прибавить, что в это время такое же отрицательное отношение к присяжным

дической частью моей речи весьма помог Сенату разобраться в некоторой путанице, созданной крайне пародаксальными соображениями обвинителя, о соучастии и шайке? Подтверждая фактическую достоверность указания Латышева, я посылая его заметку в редакцию „Былое" прибавил, что причина моего умолчания об этой благодарности весьма понятна. Такого рода указание, еслибы оно было сделано мною самим, было бы самохвальством, которое, по моему мнению не должно быть допускаемо в воспоминаниях.

[1]) У меня были письма А. Н. Малиновской от 1866 года из Лесного, где она была учительницей. Я уничтожил их по некоторым чисто личным основаниям, перед от'ездом Малиновской, при моем содействии, в Оренбург на кондиции. Была она из некогда зажиточной, но очень оскудевшей семьи. Мать вела процесс против бросившего их отца, которого я не знал. Вел процесс В. Д. Спасович. Мать была очень нервная и кончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна их маленькой квартиры в доме Фредерикса на Лиговке, около самых арок. Я получил в день моего пятидесятилетнего юбилея очень теплую телеграмму от ее старшей сестры Натальи Николаевны; не знаю жива ли она еще теперь, также как и их младшая сестра, бывшая тогда еще ребенком; совсем, впрочем, оказавшаеся потом иного склада убеждений и действий.

существовало и в Германии, в ее юридической литературе. Весьма немногие корифеи криминалистики, с Миттермайером во главе, стояли за этот институт, а значительное большинство и даже такие научные величины, как Гнейст, Цахариэ, Планк и другие, были его противниками, видя в нем продукт духа революционной Франции и забывая, что истинною родоначальницею суда присяжных была Англия. Поэтому, когда я получил приглашение от принца, то сказал жене: «Вероятно, завтра принц будет отчитывать меня за оправдание Засулич».

На другой день я к девяти часам отправился во дворец. В вестибюле меня встретил Л. Б. Дорн, бывший тогда инспектором классов в училище. Он был, видимо, чем то взволнован, так как был человек нервный и уже тогда, несомненно, носил зачатки психической болезни, которая привела его в психиатрическую лечебницу близ Риги, где он окончил жизнь самоубийством в 1892 году. Человек он был в высшей степени порядочный, добросовестный, звезд он с неба не хватал, не знал обстоятельно догму римского права, много работал по источникам и был прекрасно знаком с немецкой литературой. Он был довольно тверд в своих нравственных убеждениях, но мало был способен к их защите. Он встретил меня словами: «Ты знаешь, что у меня отставка в кармане. Мы не можем оставаться в училище. Ты, вероятно, то же сделаешь»! На мой вопрос: да в чем же дело, он мне сказал: «принц возмущен оправданием Засулич, он думает подать адрес государю, высказать в нем от нашего имени, то есть от всего училища, порицание суду. Мы подпишем адрес вместе с ним, весь совет, все преподаватели и воспитанники. Ведь это же невозможно, надо подать в отставку, это позор!» Я на это, усмехаясь, сказал, что я, конечно, никакой просьбы об отставке еще не писал, так как не знал, зачем нас зовут, да думаю, что, может быть, и не придется уходить из училища; что конечно то, что предполагает принц, скверно, но еще надо поговорить, посмотреть, что выйдет, а подать в отставку мы всегда успеем. Затем мы стали подниматься наверх. Там к нам присоединился, приехавший вслед за нами Анатолий Федорович Кони, который в то время был председателем окружного суда, читал лекции по уголовному судопроизводству в училище и был председателем по делу Засулич, оправдательный приговор по которому присяжных так взбудоражил принца. Других членов совета, кроме его, во дворце не было. Директора училища я тогда не видел. Почти вслед за тем нас пригласили в маленький кабинет принца, выходивший на Неву. Этот кабинет большею частью служил и спальнею принцу, так как он в то время почему-то часто менял место ночного покоя, и его маленькая железная кровать переезжала из комнаты в комнату его обширного дворца.

Принц предложил нам сесть, а сам продолжал бегать по кабинету, видимо не в себе. Как я упоминал, он и всегда не отличался красноречием, а в возбужденном состоянии вместо связной речи у него вылетали только отдельные фразы и даже слова, так что вполне понимать его могли только люди привычные, да и то только больше по догадкам. Говорил он, как я уже указывал, в нос, скороговоркой. Общий его склад, его обычная поза удачно схвачена в его бронзовой фигуре на памятнике на Литейном проспекте у Мариинской больницы. Только не передан там взгляд его в то время уже, стареющих, но по-прежнему добрых глаз, который окупал многие и многие его недостатки!

Бегая, он обратился к нам со словами: «Вот на этом месте,— показывая где мы сидели,—вчера сидел английский посланник и он мне говорил: куда мы идем? Да, куда мы идем! Я всю ночь не спал, я написал адрес государю, мы его будем умолять (адрес он нам так и не прочитал, и содержание его я не знаю), мы его подпишем, подпишу я, совет, воспитанники. Оправдание это ведь ужасно (любимую фразу о сапожниках он не повторил)». Мы несколько минут помолчали, потом, сколько помню, я обратился к нему со словами: «Ваше императорское высочество! в ваших указаниях у нас возбуждается прежде всего сомнение относительно участия в адресе воспитанников; мы всегда внушали им, что воспитанники училища, пока они в училище, не могут вмешиваться в государственную жизнь. Если они выразят протест против приговора суда, действующего на основании закона, суда, установленного государем, то у них может явиться мысль, что они могут разбирать и не одобрять и другие распоряжения и действия органов власти». Помню, что и все другие, бывшие тут, горячо поддержали мои слова. Принц остановился, очевидно задумался, и наконец, произнес: «Очень благодарен. Я об этом не думал» и, как он это часто делал, обращаясь к нам уже с укоризной и повышая голос: «*Они не могут подписывать*, подпишем мы!» Но перебегая к другой мысли, продолжал: «Но ведь это был какой-то базар, проходимцы! (не помню какое именно слово он употребил, но только бранное), там аплодировали, это Бог знает что такое». Тогда Анатолий Федорович заметил: «Ваше высочество, там были люди, которые бывают в вашем дворце, люди очень высокопоставленные». (За стульями сидели и аплодировали защитнику Засулич, между прочим, канцлер князь Горчаков, граф Баранцев) [1]). Принц: «Да, вы это знаете»? (Он очевидно не предста-

[1]) **Начальник дома предварительного заключения Федоров в своих воспоминаниях, помещенных в „Русской Старине" 1905 г., говорит: „Я слышал лучших защитников, но ни кто из них не говорил так сильно и убедительно как Александров, защитник Засулич. Впервые тогда я слышал на суде взрыв аплодисментов, не только со стороны обыкновенных смертных,**

влял себе, что Кони председательствовал на этом суде). Кони: «Я, ваше высочество, был председателем на этом суде. Я могу сказать, что присяжные очень внимательно относились к делу. Слышно, что они даже молились перед тем, как вынесли приговор». Принц: «Да, они молились? Это удивительно... Я ведь убежден, что присяжные не годятся, но что же делать—Высочайшая воля». Разговор продолжался еще несколько времени и затем принц, опять совершенно неожиданным образом, сказал нам: «Благодарю вас господа, я очень рад, что обсудил с вами. Сегодня же я поеду к государю. Я скажу ему, что я совещался с моими профессорами, что мы очень возмущены, но что мы преклоняемся перед Высочайшею волею». И мы расстались. Был ли принц у государя, и что он доложил о нашем совещании осталось неизвестным, но выходя из кабинета я сказал Дорну: «Вот видишь, я правду говорил, обошлось и без отставки».

6. *Попечитель училища и лицея.*

Участие в процессе 193-х составляло для меня главное содержание всего 1877 года. В порядке изложения хронографов следовало бы вспомнить об относящемся также к этому году моем преподавании В. К. Сергею Александровичу, но так как это составляет совершенно отдельный эпизод моей жизни, то я думаю рассказать об этом далее отдельно [1]), а здесь в заключение прибавлю дополнительные воспоминания о лице, о котором часто приходилось упоминать выше, о принце Петре Георгиевиче Ольденбургском. Я не сбираюсь писать его биографии [2]),

---

переполнявших зал и хоры, но и среди лиц, сидевших за судейскими креслами, из которых на многих виднелись звезды".

Автор воспоминаний о процессе Засулич Сергей Глаголь (Голос Минувшего 1918 г. № 7—9) вызванный пр. повер. Александровым на процесс Веры Ивановны говорит (стр. 153). Само собою разумеется что я не передаю речи Александрова дословно, у меня нет под руками даже сделавшейся библиографической редкостью книжки, изданной „Современником" о процессе и я не помню как передана там реч Александрова. Через сорок лет трудно вспомнить чьи либо слова с большею точностью...... помню по сейчас фигуру Александрова точно выросшего на целую голову, и его властный голос, гремевший по зале, помню ярко и то, что весь зал, как загипнотизированный смотрел ему в глаза и жил его мыслями и его чувствами. Помню я и Засулич, которая и сама не заметила, как перестала рыдать и, выпрямившись, сидела впившись глазами в вдохновенное лицо оратора. Сидела как зачарованная тем, что он говорил о ее мыслях и ее переживаниях.

Наконец Александров кончил, сел и несколько секунд в воцарившейся тишине слышно было только, как тяжело дышет взволнованный зал".

[1]) Я это и сделал. См. предшествующий очерк: „преподавание В. К. Сергею Александровичу в 1877 г.".

[2]) Официальная эклога принца дана И. Г. Щегловитовым в Ж. М. Ю.

даже не собираюсь описывать его деятельность в многоразличных государственных учреждениях,—я не имею для этого достаточно материала, а собирать его уже поздно. Думаю я представить очень немного отрывочных данных о моих с ним отношениях по преподавательской деятельности; но чтобы эти воспоминания не обратились в материалы для копилки курьезов, я полагаю полезным, а с точки зрения справедливости даже необходимым, предпослать общие замечания о нем, но и только о нем, и вот почему.

Русская ветвь принцев Ольденбургских вложилась в историю России четырьмя поколениями. Представитель первого, принц Георг Гольштейн-Ольденбургский, генерал-губернатор тверской, ярославский и новгородский при Александре I, умер в 1812 году; его я, разумеется, не знал.

Представитель последнего, четвертого поколения, Петр Александрович, женатый на младшей сестре бывшего государя Ольге Александровне, был моим учеником по училищу, но он стоял и до переворота 1917 года за пределами государственно-общественных событий, и он не входит в сферу моих воспоминаний. Остаются следовательно: представитель второго поколения принц Петр Георгиевич (супругу его принцессу Терезу я совсем не знал), и наконец, третьяго—в лице принца Александра Петровича и его жены Евгении Максимилиановны. О них, ввиду того крупного вклада, который они внесли в культурную жизнь и историю России, и ввиду той близости, в которой я долгое время стоял к ним, и того благосклонного внимания, которым пользовался до 1913 г. [2]), я мог бы вспомнить и рассказать очень и очень многое. Но в виду третьего пункта моих предварительных замечаний к настоящему очерку, эти воспоминания остаются вне сферы оглашаемого. Вот почему я и буду говорить только о втором поколении Ольденбургских.

Принц Петр Георгиевич был человек несложный и немудроный, но своеобразный во всех отношениях. Прежде всего со стороны физической он изображал из себя невзрачную, несколько несуразную фигуру с удлиненным, откинутым назад, покатым лбом и с выдвинувшеюся вперед нижнею частью головы. Череп принца покрывало небольшое количество волос, растущих как-то вразброд и неуклонно стремящихся держаться

за 1913 год № 1, Принц Ольденбургский, как государственный и общественный деятель". Много сведений есть у Гепенера „Принц Ольденбургский, его жизнь и деятельность" 1912 года. Г. Сюзор „Памяти друга человечества", 1909 год.

[2]) В 1913 году между нами произошло совершенно неожиданное для меня, но очень резкое охлаждение со стороны Ольденбургских. Долго я совершенно не понимал по чьей злонамерной сплетне это случилось; теперь думаю, что знаю. Но так как автор ее понес и несет еще тяжкую кару за свои государственные грехи, и теперь, как слышно, уже растрелен, то имени его я не называю. А что именно было сообщено им, я и до сих пор не знаю.

прямо, не сгибаясь; был он с такими же редкими несгибающимися усами. Эту растительность пополняла, совсем без необходимости посаженная на правой стороне лица, порядочных размеров волосатая бородавка. Все это придавлю ему не особенно привлекательный, с точки зрения эстетики, вид. Росту он был не особенно высокого, но казался длинным, с узкими костистыми ногами, носил он немецкого покроя генеральский мундир, в котором я всегда его видел. Таким вышел он и на памятнике и на более еще известном портрете-шарже, приписываемом Всеволожскому. Но тем не менее, смотря теперь на этот шутливый рисунок, я упорно думаю, что в нем излишне натянута струна юмориста, и нет даже попытки схватить и запечатлеть тот всеискупающий у принца взгляд доброты, о котором я упоминал ранее, и в котором светилось, или вернее, отблескивало, его доброе сердце.

Также своеобразна, хотя и незамысловата была его духовная сторона, его умственная физиономия, как она запечатлелась и сохранилась в воспоминаниях. Принц действовал в столь значительном количестве учреждений, что не только ему, но и человеку с более крепкою памятью и сообразительностью было бы не под силу разобраться в полном различии и раздельности их друг от друга и в сущности и в строе их деятельности. Про него рассказывали, что будто бы существовали официальные документы, в которых принц распекал, или по крайней мере не одобрял, действий принца, т. е. самого себя, но в другом звании. Правда ли это, не знаю. Si non e vero e ben trovato. Но со мною у него произошло нечто сходное. Я был одновременно преподавателем и в правоведении, и в лицее; оба заведения состояли под попечительством принца, в обоих он бывал, хотя в правоведении гораздо чаще. Часто встречал меня в училище, разговаривал, как я упоминал, на злобы дня, но мне передавал бывший директор лицея, Н. И. Миллер, что даже после двух или трех лет моего преподавания, принц, просматривая экзаменационные отметки лицеистов, и находя, что у многих воспитанников были плохие отметки по моему предмету, а это он ставил всегда в вину преподавателям, спрашивал его в серьез, что тот ли я Таганцев, который преподает в правоведении?

Принц стоял в главе обширного ведомства Императрицы Марии и через него был начальником громадного числа учебных и воспитательных учреждений, начиная от воспитательных домов, детских школ, и восходя до институтов всех наименований, со Смольным включительно, петербургских, московских и провинциальных. По тому же ведомству находились в его ведении училище глухонемых, ряд больниц, родовспомогательных учреждений, богаделен, даже промышленных предприятий, как, напр., карточная фабрика. Совершенно отдельно от этого ведом-

ства находились под его попечительством такие крупные привилегированные заведения, как основанное им училище правоведения, или как бывший царскосельский, а потом петербургский александровский лицей, где он был попечителем с 1843 года; огромное ремесленное училище. Число лиц, служащих в этих заведениях, было весьма велико, но еще более было окончивших курс в этих учреждениях воспитанников и воспитанниц. Так что можно сказать, что число, вылетевших из-под крыла принца птенцов исчислялось уже не сотнями, а многими тысячами. Во сколько бы крат более добра и пользы могло оказать на этом месте лицо с властью и средствами, данными для его деятельности, если бы оно обладало надлежащими личными для того качествами разума и воли! Но никто не может дать более того, что он имеет, и потомство должно воздать справедливую дань и тому, кто, по мере сил и разумения, не был рабом лукавым, а во истину хотел творить добро.

Но и сколько же должно было создаться о нем воспоминаний? И стоило, конечно, собраться нескольким лицам той или другой группы подчиненных или воспитанников; вспомнить о их деятельности под его начальством, или о днях золотой их весны, как сейчас же начинались и воспоминания об Ольденбургском; рассказы о ряде его поступков, распоряжений; анекдот следовал за анекдотом, и с этой стороны принц был, несомненно, анекдотический человек. Во всех этих рассказах много преданий и присказок, указывающих на невероятную его наивность, духовную простоту, доходящую до значительных пределов,—одним словом, на отсутствие у него обычной, присущей русским людям смекалки, но никогда, сколько мне известно, не вспоминалось о каких-либо заведомо презрительных словах или поступках принца; о чем-нибудь заведомо злом, заведомо жестоком, и в особенности—заведомо несправедливом. Памятен, вероятно, многим анекдот о помоях. Принц желая изловить начальницу какого-то заведения, которую молва обвиняла в том, что она не кормит, а отравляет воспитанниц, решил поймать ее на месте и отправился прямо с черного хода в кухню, поднялся во второй этаж и на лестнице встретил кухонного мужика, который выносил ушат с помоями и отбросами. Принц остановил его, чем-то попробовал содержимое и обращаясь к сопровождавшему его чиновнику повышенным тоном вскрикнул: «Да ведь это совершенные помои!» На что получил ответ не от чиновника, а от кухонного мужика: «Точно так В. В.—помои». Но ведь и в этом, может быть вполне выдуманном анекдоте, звучит только насмешка над житейскою простотою принца и ничего более! И мало ли мы знаем таких доморощенных Лекоков? Но ведь побуждение, руководившее Петром Георгиевичем, и в этом случае совершенно почтенно. А между тем, конечно, много про-

исходило от действий и распоряжений принца вредного, сурового, несправедливого; это был естественный результат той власти и силы, которые, независимо от принца, давили и прижимали подвластных. И как пользовались этой добротой и простотой принца окружающие его, и особенно власть имеющие сановники! Распоряжались, пользовались через него, а когда дело доходило до расправы и ответственности, хотя и не юридической, то они стушевывались, а якобы виновником всего являлся Петр Георгиевич: он был ширмами или орудием, которым работали другие; между тем лично для себя он получал очень мало и еще меньше требовал, за то для нужд России давал много; скупым он не был. Еще недавно Логин Федорович Пантелеев, вспоминая о принце, рассказал мне, как принц потерпел большие убытки на своих бумагах, доходящие до трехсот тысяч, по вине управляющего его делами, пустившегося в неудачную спекуляцию, и как государь, желая загладить такую значительную его потерю, вздумал пополнить ее включением, по своей инициативе, в бюджет ведомства в безотчетное распоряжение принца такой же суммы, и как тот, осведомленный о скрытом вспомоществовании, в виде особой милости, исходатайствовал высочайшее разрешение обратить эти деньги на постройку на Лиговке детской больницы Ольденбургского, существующей и поныне, причем добавил к предоставленным в его полное распоряжение деньгам, очень значительное собственное пожертвование [1]). Конечно можно бы пополнить общий облик принца указанием, на проявление эстетической стороны его деятельности: в области поэзии, в частности—в переводах на немецкий язык русских песен, и в области музыки. Он сочинял музыкальные пьесы и, говорят, хорошо играл на рояли. Но я сам—мало компетентный в этом судья, и потому перехожу к личным воспоминаниям, прибавлю, что буду вспоминать очень немногое.

Первые воспоминания относятся к самому началу моей профессорской деятельности в правоведении. Окончил я курс в пе-

---

[1]) Я думаю, что в этой попытке наброска нравственной характеристики принца нельзя не упомянуть об его заботах о международном мире. Как указывает Ю. Шрейер: „50-ти летний юбилей принца Ольденбургского“ 1886 года, принц в декабре 1871 года обратился с письмом к Тьеру, в коем призывал его выступить с предложением об уничтожении войн. „Пусть считают это предложение утопиею или химерою“, писал он: „Пусть делающих это предложение считают, чем хотят, я имею смелость верить, что существует лишь это единственное средство для спасения Франции и вселенной, для радикального исцеления общественных язв“. С подобным же предложением выступил Петр Георгиевич в 1878 году в адресованном к уполномоченным держав на берлинском конгрессе. На самом закате своих дней он принимал участие в образовании возникшего в Петербурге международного общества друзей мира, так называемых пацифистов. 31 мая 1880 года, по открытии этого общества, он стал его председателем.

тербургском университете в 1862 г. (родился 19 февраля 1843 г.), а 19 марта 1863 г. получил от министра народного просвещения Головнина командировку за границу для приготовления к профессуре по кафедре уголовного права. Слушал я лекции в Берлине, Лейпциге и Гейдельберге, и в 1864 г. возвратился в Петербург, где и стал оканчивать приготовление к магистерскому экзамену и писать диссертацию. В то же время я сотрудничал в «Журнале министерства юстиции» и в «Судебном Вестнике». В 1867 году я получил степень магистра, по защите диссертации «О повторении преступлений»; в том же году начал весьма скромно читать лекции по уголовному и полицейскому праву в маленьком аудиторском училище, помещавшемся на Офицерской улице против большого оперного театра, ныне консерватории.

В мае того же 1867 года я был приглашен в училище правоведения для чтения лекций по кафедре уголовного права. По общему порядку я должен был прежде всего представиться его высочеству. Для меня это была первая встреча с особою царствующего дома. Представлялся я в том же маленьком кабинете дворца Ольденбургских, о котором я уже упоминал. Беседовали мы с принцем недолго. Первый вопрос был мне предложен о том, где я воспитывался? Должен оговориться, что перед этим у меня был предварительный разговор с директором училища А. П. Языковым, и он предполагал, что лучше не упоминать о пензенской гимназии, как месте моего пребывания, потому что принц еще незадолго до того был членом верховного суда над Каракозовым; он мог бы вспомнить, что и тот—воспитанник той же гимназии, а по неожиданной ассоциации идей это могло бы вызвать непредвиденные результаты. Но оказалось, что избегнуть этого вопроса было нельзя, и что опасения были напрасны. Воспоминания о том, что Каракозов был ученик той же гимназии у принца не возникло. Принц только спросил: кто у нас был учителем латинского языка и хорошо ли я у него учился. Я сказал, что учителем был Кошко, но о своих успехах отвечал уклончиво, так как хотя у меня в гимназическом аттестате и стояло «отличные», но при поверочном испытании в 1859 году в Петербурге многоизвестный Г. И. Лапшин поставил мне только тройку, хотя и назвал меня даже феноменом, потому что, как сказал он, я переводить могу, а читать не умею, так как я ему Горация читал не скандируя, а тонически, как мы учились в гимназии. На мой ответ принц сообщил мне, что у него в Германии был превосходный учитель, но что он его много бил и даже бросал на пол. Проверить эти указания на педагогические приемы в герцогстве Ольденбургском я не мог и только выслушал молча; затем Петр Георгиевич перешел к ближайшим предметам и дал краткие, но очень энергичные и несколько поставившие меня в тупик

отзывы о моих предшественниках по преподаванию в училище. О В. Д. Спасовиче, бывшем моем университетском профессоре, он дал лаконический отзыв: «Он—государственный преступник», хотя Спасович был в это время присяжным поверенным; а относительно А. П. Чебышева-Димитриева, у которого я только что сдал магистерский экзамен и был несколько лет его постоянным сотрудником по журналу, высказал еще более неожиданную характеристику: «Чебышев—это вор, он воровал казенные деньги», но вероятно, видя на моем лице полное недоумение, вызванное этою неожиданною атестацнею, он добавил: «Он читал по двадцати минут вместо часа, беспрестанно манкировал». В пояснение к этому добавлю, что в то время лекции в училище полагались в пятьдесят минут. Более ретивые профессора доводили промежуток до четверти часа, а иные сводили действительно часовую лекцию до тридцати пяти минут и даже менее.

В училище правоведения для каждого вступающего профессора полагалось обязательным чтение вступительной лекции всем воспитанникам старшего курса вместе, в присутствии всего совета с принцем во главе. Принц считал свое присутствие на таких лекциях чем-то обязательным, высиживал всю лекцию, иногда дремал, и даже, как говорит Сементковский в своих воспоминаниях, совсем засыпал. Он всегда не только желал, но и требовал, чтобы лектор читал громко и внятно. Но мне не пришлось читать в этой торжественной обстановке, полагаю потому, что моя деятельность в училище началась, собственно говоря, весною прямо с участия в экзаменах, которых приходилось сдавать воспитанникам по лекциям, слушанным до меня. Я прочел первую лекцию только 5 сентября соединенным первому и второму курсам. Торжественную лекцию я читал уже много позднее, когда окончилось двадцатипятилетие моей профессорской деятельности—она напечатана под заглавием: «Двадцатипятилетие уголовного права», в «Вестнике Европы» за этот год.

В течение учебного года принц приезжал в правоведение еженедельно, иногда даже по два раза. Обыкновенно из дворца давали заране знать о предназначенной поездке, а о выезде сигнализировали махальщики швейцру, чтобы принц не застал начальство, а главное директора, врасплох. Принц обыкновенно проходил по рекрационным залам старшего и младшего курсов, дежурные воспитанники ему рапортовали: сколько воспитанников на-лицо, кто в лазарете и т. д. Очень редко принц заходил в классы на лекции, иногда вызывал к себе кого-нибудь из профессоров, чтобы спросить о чем-нибудь. На экзамены он являлся обыкновенно только на выпускные, т. е. экзамены воспитанников первого класса и при том из главных предметов. Эти экзамены происходили в нижнем этаже в зале библиотеки. Принц считал для себя *обязательным* выслушать ответы всех воспитанников, но

каждого по одному какому-либо из главных предметов. Поэтому для него заготовлялся особый лист, на котором он ставил крестики у фамилий тех воспитанников, которые при нем отвечали, и которых он сам вызывал, так что если иногда случалось, что вызываемый уже отвечал до приезда принца, то он отвечал во второй раз. Сам принц отметок не ставил, экзамен вел преподаватель, но иногда и сам принц по предметам, в которых он считал себя знающим, предлагал свои вопросы, причем воспитанники, по преданиям, хорошо знали, какие вопросы могут быть предложены, и подготовлялись к ним.

Баллы ставил преподаватель и обязательный ассистент, а иногда и присутствующий директор, и эти баллы складывались с баллом, полученным воспитанником на полугодовой октябрьской репетиции, и выводилось среднее. По обычаю баллы ассистента и особенно директора были всегда более снисходительными, но при известной настойчивости было можно отстоять свой балл.

На почве экзаменов разыгрался и второй эпизод, рассказом о котором я закончу мой очерк. Но он относится к другому заведению,—Александровскому лицею; это было позднее в 1870 г. с XXXI курсом лицея. Для уразумения предпошлю несколько слов о внешнем распорядке преподавания в лицее по сравнению с правоведением.

В обоих заведениях в старших классах курс продолжался три года, что сравнительно с университетским курсом, четырехлетним, давало сокращение занятий на один год, а так как при этом оканчивавшие курс по первому разряду в лицее и правоведении получали девятый класс, а кандидаты университета только десятый, что в прежнем бюрократическом строе значило весьма много, даже независимо от того, что оканчивавшие курс в училище уже при самом выходе обязательно зачислялись по министерству юстиции и получали, хотя небольшое, но ежемесячное вознаграждение, имели так сказать первоначальную поддержку,— то все это придавало обоим этим учреждениям значение *привилегированных*.

Высшие специальные курсы училища правоведения делились на три класса, а в лицее до 1882 г. только на два, по полтора года каждый, так что выпуски из лицея бывали то в мае, то на Рождество. В этом отношении преимущество конечно было за правоведением, так как трехгодичный курс давал более возможности для распределения правильной постепенности предметов. Еще более различия представлялось в объеме преподавания, особенно чисто юридических предметов; так в училище уголовное право читалось шесть часов в неделю и кроме того отдельно читался процесс четыре часа и еще русская практика два часа. В лицее, хотя профессору уголовного права было

предоставлено восемь часов, но совместно с процессом, и притом из них только четыре часа для лекций и четыре часа для производства репетиций, которые продолжались весь учебный год по шести сменам, а в правоведении репетиция была одна перед Рождеством. В лицей мне приходилось приезжать два раза в неделю к девяти часам, сначала шли репетиции, потом был завтрак, а потом до трех часов лекции. Занятия в обоих заведениях и по существу шли различно. В правоведении на первом плане стояли все чисто юридические предметы: римское право, гражданское и уголовное право и процесс, а в лицее выдвигались науки, так сказать, государственные: государственное право, международное право, политическая экономия, статистика. Разный был и состав и отчасти направление молодежи. В правоведении преимущественно были дети чиновников всех рангов и ведомств, а в лицее много было потомков старого дворянства, родовых. Даже и в эстетическом направлении была между заведениями значительная разница: в лицее благодаря царскосельским традициям, воспоминаниям о Пушкине и его современниках, процветала наклонность к поэзии, и почти в каждом курсе был своей маленький Пушкин, а в правоведении наиболее культивировался элемент музыкальный. Там помнили, что из училища вышли Серов, Чайковский, да и сам принц был более музыкант, чем поэт. Правоведы шли по выходе из училища, прежде даже обязательно, на службу по министерству юстиции, а лицеисты—главным образом в министерство иностранных дел и в министерство финансов. Но если пойти по этой дороге сравнения двух заведений, то пришлось бы написать целый том.

Возвращаюсь к предположенным воспоминаниям.

XXI курс лицея 1870 года состоял, конечно, из юношей весьма различных способностей и прилежания, но почему то среди них оказалось не мало воспитанников, которые к моему предмету относились, хотя не враждебно, но во всяком случае пренебрежительно. Хотя среди них были некоторые весьма не без способностей, тем не менее моя книжка для репетиционных баллов была полна не только тройками, двойками, единицами, что при двенадцати балльной системе представляло свидетельство очень малых успехов; но было человек пять, которые имели по несколько нолей, а других баллов не имели за весь год, что свидетельствовало, что они упорно отказывались отвечать что либо из пройденного. Конечно, ноли сохранились и в годовом выводе. Экзаменатором я считался довольно строгим. С традиционным лицейским правом директора от себя исправлял отметки годовых баллов мы с моим другом проф. А. Д. Градовским боролись сильно и не без успеха, поэтому и результат экзаменов за этот год был не блестящий. Обыкновенно принц никакого участия в экзаменах не принимал, но в этот раз директор объявил

нам, что принц желает присутствовать на сводном экзамене. При мне эта комедия предполагалась в первый раз. Она состояла в том, что весь выпускной класс должен был проэкзаменоваться при принце из всех предметов, то есть принц должен был указать, кто из воспитанников по какому предмету должен взять билет по соответствующей программе, и на него при принце отвечать.

Сущность фокуса состояла в том, что каждый воспитанник по каждому предмету готовил только *один* билет и затем, какой бы билет он в действительности не вынул, он должен был отвечать тот, который он себе заранее предназначил. Я сначала объявил, что участвовать в таком экзамене не буду, но Миллер мне объяснил, что иначе ничего сделать нельзя, что нельзя же требовать от воспитанников, чтобы они опять в один день могли экзаменоваться из всех предметов, что это невозможно даже для лучших из них, что это всегда так делалось для успокоения принца, что он руководствуется благою, хотя педагогически невозможною для осуществления мыслью, я уступил, но заявил, что активного участия в этом надувательстве принимать не буду. Состоялся экзамен. Принц сел на председательское место, стал просматривать листы с экзаменационными отметками по разным предметам и остановился на моем, очевидно в виду значительного количества дурных баллов, и сказал, разгорячаясь, что начнет с уголовного права. Я должен был, как экзаменатор, пересесть рядом с ним. Принц прежде чем вызывать воспитанников, обратился ко мне с укоризненным видом: «Как они плохо у вас занимаются». Я отвечал, что действительно в этом году очень много воспитанников ленивых. Он наклонился и сказал негромко: «но ведь вы знаете, это дети хороших фамилий, мы должны их выучить». Я ничего не ответил. Он вызвал первого, имевшего круглый ноль в годовом, а на экзамене получившим единицу, так как ноль означал простой отказ от ответа. Это был Полозов, юноша неглупый, развитой, но абсолютный лентяй. Он вынул билет и заявил, что у него номер билета о смертной казни и передал билет инспектору. Принц пригласил его отвечать. Он откинувшись, принял позу и начал говорить с апломбом обо всем, не имеющим никакого отношения к вопросу. Помню, что он говорил что-то и о вавилонянах, и об египтянах. Говорил он складно и толково, Принц одобрительно кивал головою и потом, полуоборотясь ко мне, сказал: «А ведь он хорошо знает?» И посмотрел на меня вопросительно. Я, видя, что комедия начинает принимать неприятный оборот, сказал принцу: «Позвольте, В. В. предложить ему несколько вопросов». Принц кивнул утвердительно. Тогда, помню, я сказал Полозову: «Все, что вы до сих пор говорили никакого отношения к вашему билету не имеет, перейдите к вопросу: что вы можете рассказать об истории

смертной казни у нас в России?» Оказалось, что Полозов был настолько ленив, что даже и по одному тому билету, который он сам же выбрал, он в записки не заглянул. Тогда я попросил разрешения у принца предложить ему другие вопросы из курса. Принц разрешил. Я выбирал такие, по которым и у принца могли быть сведения; но разумеется, ни на один Полозов ничего ответить не мог. Тогда я уже со своей стороны обратился к принцу: «Изволите видеть, в. и. в., что он действительно ничего не знает». Принц ничего не ответил и тотчас же вызвал другого, также с нолем в годовом. Тогда я со своей стороны решил, что более этой комедии не будет, и когда тот вынул билет, попросил передать билет мне, а затем показал билет принцу. Принц разыскал по программе содержание билета и сказал, чтобы воспитанник подумал и отвечал. Но, понятно, что никакого ответа мы не дождались. Принц, казалось, совершенно рассвирепел, стал ярко-пунцовый с несколько налившемся лицом. Не помню, вызывал-ли он еще кого-нибудь.

Затем принц совершенно неожиданно встал и, ни с кем не прощаясь, направился к выходу. За ним пошли директор и инспектор.

Мы остались несколько в натянутом положении. Возвратился директор, Николай Иванович Миллер, минут через десять, также видимо в расстроенном состоянии. Какое объяснение у него было с принцем, я не знаю. Прежде всего он обратился к воспитанникам. Заявил им, что Его Высочество очень недоволен ими и их занятиями, и отправил их в классы. А затем объявил нам, что по распоряжению принца, инспектор классов Адольф Егорович Паукер (капитан флота, кажется геррнгутер и бесспорно очень порядочный, хотя и прямолинейный человек) по распоряжению принца посажен на шесть дней под арест, конечно, не за то, что был устроен фиктивный экзамен, так как за это мог бы отвечать разве сам директор, а виновным в существе был сам принц, не понимавший всю нелепость устроенного им парад-экзамена, а Паукер был козел очищения. Затем Миллер обращаясь ко мне и несколько конфузясь, сказал, что по приказанию принца он должен объявить мне строгий выговор. Помню, что на это я ответил, что очень сожалею, что не исполнил моего первоначального предположения и приехал на эту комедию. Без меня, вероятно, все прошло бы иначе. Александр Дмитриевич Градовский поступил более благоразумно: обещался приехать и вовсе не явился на сводный экзамен.

На другой же день я прислал Миллеру прошение об отставке, но потом, после личных переговоров с ним, согласился остаться преподавателем, но не на службе, а по найму. Так я пробыл в лицее до 1881 года, когда вследствии усиленных занятий в комиссии по составлению уголовного уложения, я совсем

оставил преподавание и в лицее, и в университете, сохранив за собою только профессуру в училище правоведения, где оставался до 1906 года, до перехода моего в государственный совет.

С бывшими моими слушателями по лицею всех выпусков я однако сохранил самые хорошие отношения, а с некоторыми из них, как, например, с Владимиром Николаевичем Коковцевым, они даже потом возросли, и обратились в близкую дружескую связь, и не только тогда, когда он достиг зенита своей заслуженной государственной славы, и деятельности, но продолжаются и до сего дня.

С принцем Ольденбургским мы встретились довольно скоро после этого экзамена в училище правоведения, но он никогда и не намекал ничем на то, что произошло в лицее, и я искренно думаю, что он в то время даже не представлял себе, что тот «раб нерадивый», который не взростил надлежаще отпрыски хороших фамилий, был я.

Оканчиваю.

Не знаю, почему в моих воспоминаниях образ принца Петра Георгиевича всегда вызывает в памяти благородный тип творения великого Сервантеса. Да, он был в своем роде рыцарем печального образа; также стремился он к неиссякаемым и недосягаемым идеалам правды и добра; также неуклюже, но и неуклонно, боролся он с воображаемыми и действительными чудовищами окружающей жизни. Я бы только прибавил, что судьба была благосклоннее к нему, чем к его прототипу. Ему удалось действительно посеять на почве родины кое-что «разумное», «вечное». На его рыцарском жизненном щите был начертан образ сладостной, но недосягаемой для него «Дульцинеи», но это не была эмблема какого-то фантазма; скорее это была «двойная звезда» нашего северного небосклона, из коих внешняя, ближайшая была идея самодержавия, воплощенная для него в лице Александра Второго, которого он чтил и любил всеми фибрами души, и смерть которого мог пережить только несколько месяцев. А за первою звездою скрывалась вторая, более глубокая, но и более туманная, это—Россия, которой этот, немецкий по происхождению, принц служил «не токмо за страх, но и за совесть».

По расказам, принцем была сочинена себе эпитафия: «Правду я говорил без боязни властителям мира; ближнего благо считал всюду святынею я». В первой части, принц, думается, добросовестно заблуждался, но вторая, как чисто субъективная, была несомненно истинна.

Колокола Рогожского кладбища.

„Vivos voco mortuos plango".

Когда я писал о процессе 193 (см. Защита А. А. Кадьяна в 1877 г.), я вспоминал о моих первых жизненных злоключениях еще весною 1860 г. и о моем первом жизненном опыте, почерпнутом на Таганской площади, близь Рогожского Кладбища и, при этом, шутя, воспроизвел мою предположительную генеологическую таблицу; передо мною, вдруг перевернулась страница бытия и воскрес величавый облик хранителя древнего благочестия,—старообрядческого Епископа Иоанна, облик в очертаниях древних сподвижников церкви Христовой, и вспомнилась моя единственная встреча с ним; заблиставшая в калейдоскопе моей памяти, радужными переливами многогранного алмаза, я и написал тотчас же ниже печатаемые строки. Но затем, когда я стал сопоставлять написанное с другими страницами (повести временных лет), то оказалось что, хотя по времени то, что я написал, и относится к описываемой мною эпохи, хотя оно и составляет одну из больших моих радостей тех годов, но является особым эпизодом моей жизни. Поэтому приходилось или вовсе выкинуть мой рассказ, или выделить его в особый очерк. Но, мне так хотелось видеть написанное отпечатанным еще при моей жизни, что я выбрал последнее.

Дело было так.

Отношения мои к старообрядцам всегда были самые теплые. и я думаю не только в силу вспомянутой мною связи моей фамилии с одним из главных центров старообрядчества, но и по требованиям моего разума, коему ненавистен всякий гнет на совесть других.

Дважды в год—на Рождество и на Пасху—являлись ко мне представители главных московских старообрядческих общин: с начала одного Белокриницкого Согласия—«Рогожское Кладбище»—приемлющих священство, а потом и Федосеевцев—беспоповцев—«Преображенское Кладбище». Неустанно приносили они, вслед за явкой к Государю и Государыне свои поздравления и некоторым *сановникам*, а на Пасху кроме того, для христосования «Лукутинския» яйца; но об этом я теперь подробно говорить не буду. Эти отношения требуют особого обзора. Приносили они мне вместе с тем и повествования чи-

нимых им притесненіях и угнетеніях) а я давал посильные советы. Но вот однажды, уже по распечатаніи рогожских храмов, о чем я расскажу может быть особо, ко мне являются обычные представители рогожцев и сообщают о новом, действительно возмутительном насиліи, учиненном над этими страстотерпцами религіозной «старины».

Было это как раз в період времени 1905—1906 гг. в началѣ нашей новой государственно-религіозной эры, после манифеста 17 апреля 1905 года, когда мин. внутр. дел возглавлялось много раз вспоминаемом мною, одним из братьев Дурново, Петром Николаевичем. Сообщают, они мне, что придуман новый прием нажиманія на свободу человеческой совести, и это после провозглашенія с Престола свободы веры! что постановлено в стиле некоторых декретов, что каждый член их религіозной старообрядческой общины должен получать ежегодно, и *непременно самолично*, паспорт на месте его родины, и что их епископ Иоанн, в міре донской казак Картушин, соответственно этому распоряженію должен был поехать в свою станицу, чтобы выправить там паспорт. Сделал он это, а назад его не отпускают, и остаются они без своего пастыря. Что им тут делать? Поразвели мы руками, и я решил немедленно ехать к Петру Николаевичу разъяснить откуда сие, и что это за свобода вероисповеданія? Так я и сделал. Говорю ему: «ведь это же такое беспредельное насиліе, а он на это с невозмутимым самообладаніем отвечает: «этого быть не может»! Говорю, «живые свидетели сидят у меня»; слышу ответ: «они вам наврали», и говорит это Дурново с таким апломбом, что и у меня поколебалась уверенность. Спешно возвращаюсь домой и говорю приезжим, а были между ними, помню,—Пуговкин Иван Алексеевич, и Расторгуев, Петр Сидорович; «как же вы так меня подводите». Они отвечают: «да разве это возможно, истинная правда». Я опять к Дурново! Настаиваю на моей правдивости а он, не задумываясь, заявляет, что сделал запрос по телеграфу: «вышло недоразуменіе; теперь Картушин совершенно свободен и может возвратиться в Москву».

О степени правдивости его последнего утвержденія я теперь не сужу, но привожу *этот факт*, как основу моего заглазного соотношенія с Владыкою Иоанном. И вот в 1906 г. приезжаю я в Москву, еду с Пуговкиным на Рогожское, где торжественно праздновали поднятіе разрешенных к благовести колоколов. Иду с ним в главный храм, где совершал торжественное богослуженіе сам епископ Иоанн с 7-ю священниками: сначала литургію, а потом молебен с водосвятіем. Совершал чинно, по древнему укладу. Провели Пуговкина и меня—никоніанца-щепотника, конечно с разрешенія епископа, в боковой алтарь рядом с главным. Молюсь я, правда не ста-

рым благословляющим крестом, а никонианскою щепотью, но молюсь с тем же чувством, ибо Всевышний зрящий с небес, смотрит не на перстосложение телесное, а на молитвенное самоуглубление перстослагающего и возносящего молитвы к Его Престолу. Виден мне весь чин служения в главном алтаре. Повторяю, служат не только «истово», к стыду моему должен сказать не так, как доводилось мне видеть служение в наших приходских церквах, где я так же почти всегда, особенно в день принятия Св. Таин стоял в алтаре, и где отношение служащих к совершению Великого Таинства, творимого в память Тайной Вечери, всегда коробило меня своим как бы будничным панибратством с Творцом-Зиждителем мира. Да не поставит мне это Всевышний в суд и осуждение. Я только, что вчера уже совсем собрался перейдти в мир загробный, но пока отдышался, как бы получил отсрочку!

Продолжаю, в храме в надлежащем порядке шло богослужение, совершалось Великое Таинство Пресуществления, творимое в воспоминание последней вечери Христа с апостолами; провозгласили «Святая Святых...», совершили причащение приемлющих в тот день Святое Таинство, как вдруг вслед за сим подходит ко мне архиепископ Иоанн в полном облачении, а за ним и все сослужащие ему священники, и кланяются мне земно.

Я растерялся. Благословения конечно мне не дают, да и я его принять не могу, но радость и умиление мои были велики. И вот воспоминание об этом пережитом мною моменте, я непременно хотел воспроизвести в назидание всех, еще при моей жизни. Оказалось успел!

По окончании службы и поднятии колоколов, перешли мы в столовую богадельного дома. Во главе стола сел епископ Иоанн, а мне отвели место рядом с ним. Напротив меня, по другой стороне стола, расположились старообрядческие священники—по обязательному требованию указа 17 октября, именуемые «старообрядческими наставниками». По нашей стороне сели наиболее влиятельные члены общины; сидел тут же еще один «никонианец»—московский градоначальник Адрианов. Закуски и яства были обильные; сколько помню постные, рыбные, но не утверждаю. Народ все сидел зажиточный,—рыботорговцы, как напр. Расторгуев, тогда еще не пораженный психическим страданием, Рябушинский, кто-то из рыбников «охотного ряда» и др. Все мужчины были одеты по старинному, в поддевках, брюки в сапоги, а жены сих именитых купцов также в скромных, темных платьях, и ни одной из них не было в шляпке, все в платочках. Против нас стояло вино,—мадера, красное и белое, а против священников ланинская вода, которую наливая в стаканы, каждый раз они обязательно крестили.

Почти вслед за второй переменой пошли здравицы, при чем каждый говоривший подходил предварительно к епископу Иоанну, благословиться сказать слово, при этом делал ему земной поклон, а от него получал разрешительное благословение. Я и Адрианов от всяких речей воздержались. Владыко, очевидно, утомленный долгою службою, в половине трапезы удалился.

Не могу не прибавить, что с его уходом картина переменилась: смиренные священники оставили ланинскую воду и также перешли к мадере и к красному вину; благословенное челобитие, конечно, прекратилось, но речи продолжались еще долго.

ПРОФЕССОР ХИРУРГИИ А. А. КАДЬЯН.

(Очерк).

1) *Время студенчества.*

Александр Александрович Кадьян родился 1 апреля 1849 г. в Петербурге. Отец его, Александр Захарьевич, родом из Полтавской губернии, был профессором фортефикации в Инженерной Академии и преподавателем во 2-м Кадетском Корпусе. Матери Кадьян лишился очень рано, когда ему шел пятый год и забота о семье, состоящей из старшей сестры Надежды Александровны, брата Захара и двух младших Евгении и Зинаиды [1]) приняла на себя сестра жены Кадьяна Елизавета Михайловна Петровская, самоотверженно отдавшая сиротам всю свою жизнь и своими заботами и попечениями сплотившая их в дружную, любящую семью.

Воспитывался Кадьян сначала в Ларинской гимназии, а потом в первой. По окончании курса в гимназии в 1867 г. он поступил в Медико-Хирургическую Академию, где и окончил курс в 1872 г. со степенью лекаря, а экзамен на степень доктора сдавал много позднее, в конце 1878 и начале 1879 г.г.; степень доктора он приобрел по защите диссертации «Архитектура стопы» по кафедре анатомии только в 1883 г. Эти перерывы не зависели от него, а были вызваны подследственным арестом по обвинению в преступной пропоганде, а потом ссылкою.

Пребывание Кадьяна в Академии совпало со студенческими волнениями шестидесятых годов, в которых он, по своей живой и увлекающейся натуре, не мог не принимать деятельного участия.

В бурлящей жизни академической молодежи сложились, выросли и окрепли главные устои его высокой нравственной

---

[1]) Впоследствии в 1870 г. я женился на младшей сестре—Зинаиде, а по смерти ея в 1882 г., заведомо для церковных властей, даже самого обер-прокурорта К. П. Победоносцева, на старшейЕвгении, здравствующей и по ныне Осюда и моя близость к Кадьяну.

личности. Студентом Кадьян пользовался не только большим доверием, но и общею любовью товарищей; позднее, когда он стал врачем. Так же относились к нему его пациенты и в Николаевске, и в Симбирске; его имя глубоко чтили по всему Поволжью; а через много лет, с выступлением его на еще более широкую и ответственную деятельность профессора, и до самой его смерти, те же чувства питала к нему чуткая молодежь, его слушательницы. С такими же любовно-умилительными откликами проводили они своего «дедушку Кадьяна» на Митрофаниевское кладбище, где остался на вечное упокоение его прах, в одной могиле с отцом, а бессмертный дух через умы и сердца его слушательниц, пройдет горькое чистилище современного гнета разума и развращения сердца, и воссияет в будущей России среди «стожар» (плеяд) звездного неба—славы родины.

Среди товарищей по Академии, где его постоянно выбирали Курсовым Старостой и Казначеем, Кадьяна выдвигали вперед не только логичность и твердость убеждений, которые он стойко отстаивал, но в нем ценили также его честность и прямоту в общественных делах, соединенную с мягкостью и деликатностью в частных отношениях, свойства, которые сохранил он и до глубокой старости.

Любопытно, что эта последняя, так сказать женственная струя, его вообще твердого и несгибающегося характера придавала особое, крайне привлекательное свойство его врачебной деятельности, даже его жесткой специально хирургической практике.

Он не принадлежал к той группе хирургов, которые ставят на первый план только торжество научных приемов, торжество техники, так сказать виртуозность оперативного ножа. Кадьян всегда помнил, что под его ножем или скальпелем больной страдающий человеческий организм; что операция есть только форма исцеления. Он страдал не только от неуспешности или неудачи операции, он страдал болью оперируемых; он всеми зависящими от него средствами старался уменьшить боль операции, и эта чарующая жалость на долго привлекала к нему сердца больных; с пациентами он, вообще довольно резкий собеседник, даже говорил иным, особо ласковым тоном. Мало того, он даже вводил отзывчивость к страданиям больных в одно из требований врачебной этики. В этом он напоминал Вячеслава Авксентьевича Манассеина, научный и нравственный образ которого он ставил высоко. В одном из позднейших писем, делая оценку врачей, с которыми ему приходилось встречаться в провинции и позднее в Петербурге, он ставил им в прямой укор, эту их профессиональную сухость и жесткость.

В академические годы жизни Кадьяна сложились, как я уже сказал, главные основы его политических воззрений и об-

щественной деятельности, которые, нельзя не отдать ему в этом отношении справедливости, никогда не расходились у него друг с другом. Для этого периода его жизни мы имеем драгоценные материалы в его переписке с близкими ему лицами: вначале с сестрами, с которыми он был очень дружен, а позднее с женою—другом. Материал этот весьма значителен, и хотя большая часть его была в моем распоряжении, но к сожалению я не мог использовать его с полнотою, в виду эскизного характера моего очерка.

В 1869 г., еще в начале третьего курса, Кадьян должен был впервые оставить Петербург и поехать в Малороссию, в Полтавскую губернию к знакомым, для поправления расшатавшегося некрепкого здоровья, а в частности в виду болезни глаз (оказавшемся впоследствии нервной болезнью глаз). Там он провел почти полгода и немного окреп, а потом в следующем году, он поехал в Борисоглебск, а оттуда в Черниговскую губернию в город Мглин. В этих поездках началось его первое знакомство с народом. В особенности безотрадное впечатление произвели на него социальные условия жизни последнего, так в Мглине он встретился с ужасами, сопровождавшими только что совершившееся раскрепощение или освобождение крестьян. В письмах к отцу от 22 августа 1870 г. он пишет: «Знаешь ли тут нет села, которое бы не было бы перепорото при введении Уставной Грамоты. Гадко просто слушать, как начнет мужик рассказывать, как его пороли до того, что на спине кожа висела лохмотьями, а живот покрыт, как сетью, бороздами от ударов. А как такого-то засекли до смерти. И все из-за того, что они не хотели брать в надел песку, ничего не дающего, а посредник требовал добровольного соглашения. Перепоров крестьян, к ним ставили солдат, которые их по совести объедали, так что не оставалось ни курицы, ни поросенка. После того крестьяне приходили с повинной и следовало добровольное соглашение т. е. мужики получали в надел песок или болото.

Но если по отношению к крестьянам Кадьяна возмущала кровавая расправа с ним правительственных агентов, и за их застенком типы настоящих помещиков-крепостников, то среди горожан его возмущала самая среда. В Борисоглебске он встретился с двумя группами жителей: с мещанами и мелкими торговцами с одной стороны, и с мелкими железнодорожными служащими вновь прокладываемой дороги—с другой. По поводу первых он в письме к сестрам от 21 июня 1870 г. говорит: «Их довольно удачно называют «сарматами», действительно европеец по моему не походит на этого сармата... Посудите сами: можно ли назвать цивилизованным человека, который не знает употребления ножа и вилок. Это положительно верно, они обходятся без этих инструментов. Я как-то с Зорей (брат Кадьяна,

у которого он гостил) попробовал обедать у одного из жителей, то нам подали по ложке, но ножик был только один, большой кухонный... Не забудьте, что у этого господина обедают постоянно трое или четверо служащих на железной дороге... наконец эти люди не знают даже отхожих мест, так что исполнять все естественные потребности приходится прямо на дворе». Поражала Кадьяна и самая внешность города, действительно крайне скверная «грязь-то, грязь какая! Я ничего подобного не видывал: было несколько дней дождливых, пыль по улицам обратилась в невообразимую грязь, но извозчики впрочем, утешают, говоря, что это еще ничего, а вот весною дело другое, тогда лошади по-брюхо...» «Теперь скажу, как живет весь этот народ. Его можно разделить на два разряда, на купцов и мещан. Мещане это все кулаки, за самыми малыми исключениями (портные, сапожники и т. д.); они скупают у крестьян сырые продукты: хлеб, салю, шерсть, полотно, кожи и т. д., перепродают купцам, которые перегружают все это на барки и спускают по Сороке в Хопер и Дон до Ростова на Дону. Таким образом видите, город—это есть собрание эксплуататоров, один эксплоатирует другого, а внизу всего сидит несчастный крестьянин-мужик. Каким образом и по каким ценам скупает кулак у крестьянина, это не трудно себе представить... просто обидно видеть, что целый город занят совершенно бесполезным трудом. Я себе часто задаю вопрос: лучше ли чем нибудь этот великорусский мещанин гонимаго всеми жида? ведь роль их одна и та же, как тот, так и другой живут эксплоатируя народ». Далее, не лучше рисует он и другую группу—служащих железнодорожников на только что выстроенной железной дороге, «которые как мне казалось», говорит он, «должны бы вносить новые элементы в провинцию». Правда, он познакомился только с низшими служащими, получающими от 30 до 100 руб. в месяц... «Кроме своих служебных обязанностей они ничего не знают; никаких интересов, кроме самых низших, животных у них нет. Ничего не читают, ни о чем не говорят. Свободное время проводят или в пьянстве, или за картами. Затем, он прибавляет: «Жаль, что не пришлось увидеть, как тут живут богатые купцы и железнодорожное начальство»... Кончает он письмо так: «Всюду гадко, мерзко, хоть на чем нибудь можно было бы с удовольствием остановиться, нет, ничего нет. Да, не совсем то приятно будет жить среди такого общества, а ведь жить-то придется между ними через какие-нибудь два, три года. Я все более и более прихожу к убеждению, что Россия вполне варварская страна. В городе нельзя достать газеты,—тут в трактирах есть жидовки и цыганки, играющие и поющие, но газет нигде нет,—значит на это нет потребности»... Неприглядная жизненная действительность однако нисколько не коле-

бала предположений Кадьяна о будущей деятельности в народе. В одновременном письме к сестрам он говорит по этому поводу (письмо от 29 августа 1870 г.) «несмотря на всю непривлекательность провинциального общества никогда я не имел такого твердого решения, как теперь, по окончании курса отправиться в провинцию. Я пришел к такому убеждению, что если кто не хочет быть филистером или фразером... всю свою жизнь, должен ехать в провинцию. Если можно что-нибудь делать, то только здесь и именно потому, что тут мало хороших людей, а все окружающее страдает тупоумием; это должно служить побуждением для того, чтобы жить тут. Конечно, на слабых людей это общество должно иметь скверное влияние, они должны легко опошлиться, но ведь для чего же воспитывать тепличные растения, ведь пользы от них не может быть, а только вред, так как они требуют большого ухода, пусть они лучше гибнут, подвергаясь влиянию действительного климата»[1]. Соответственно с этим высказал он и свои предположения о личных занятиях в Академии. В письме от 6 ноября 1869 г. старшей своей сестре он пишет: «30 мая в Киеве у меня был припадок с глазами вероятно потому, что в предшествующие дни несколько много читал. Ты говоришь, что зимою, если я буду меньше заниматься, припадков вероятно не будет. Но вопрос вот в чем. Возможно ли меньше заниматься? В предыдущем году, я сделал, собственно говоря, очень не много, так что на том основании, что я буду на 2-й год на третьем курсе, нельзя сократить особенно занятий. Чтобы быть медиком, как я хочу, медиком-практиком, а не каким-нибудь специалистом ничего не знающим, кроме одной своей несчастной науки, требуется много работы, надо знать все отрасли медицины, начиная с терапии и хирургии, и кончая ушными болезнями. Не забудь, что можно быть дрянным юристом, инженером, техником и т. д., но нельзя быть дрянным медиком,—почему, это всякому понятно. Тут-то и возникает вопрос могу ли я быть медиком, а если не медиком то кем? Ты приписываешь особенное значение тем разным штукам, в которых я принимал участие нынче зимой (участие в студенческих волнениях, авт.), но мне кажется, что они особенного вреда мне не принесли, а без них мне трудно обойтись, даже я убежден, что, оставаясь в Питере, это для меня невоз-

[1]) Не могу не прибавить, что в том же письме он ставит один прогноз, свидетельствующий, как чутко присматривался Кадьян даже и тогда к общеевропейским событиям. „Как я рад“, пишет он сестре *22 августа 1870 г.*, что пруссаки бьют французов, *я убежден*, что Наполеон прогуляется в Англию, а Франция *опять об'явит республику*. Хорошо было бы, чтобы французы, об'явив республику, воодушевились, как в 1792 г. и выгнали пруссаков“. А за этим действительно последовали: Седан, интернирование Наполеона в Англию и об'явление республики 4 сентября.

можно, т. е. физическая возможность есть, но это принесет мне гораздо худшие неприятности, чем самое участие во всех этих делах; поэтому если я приду к убеждению, к которому приходишь ты, что моя деятельность приносит вред для моего здоровья, то я должен буду оставить Питер, а перейти в какой-нибудь другой университет, чтобы там быть вдали от всевозможных неприятностей». Но Кадьян только из скромности говорил о том, что медик не должен быть узким специалистом, а должен быть знаком со всеми отраслями медицины, а в действительности его жизненные требования шли гораздо далее. Он считал необходимым для медика и общее образование, да и сам Кадьян был весьма широко образован и не только в области изящной литературы, но и в области социальных знаний. Эти его стремления проявлялись уже и во время его юности. В этом отношении мы имеем чрезвычайно любопытные данныя из той же переписки студенческих годов.

Путешествие в Малороссию Кадьян совершил главным образом на средства его тетки С. М. Петровской, бывшей начальницей в школе цесаревича Николая. Средства, полученные им от нее были весьма скромные, и он относился к ним с большой экономией. Как видно из писем он старался как можно уменьшить свои расходы, ограничивался самыми скромными личными удобствами, и в то же время, как мы видим из письма 6 октября 1869 г., он не удержался купить себе книг на относительно большую сумму, на 12 рублей. Какие же это были книги? Выписываю их список полностью: 1) Руководство к социальной науке, Кэри. 2) Духовные жены, Диксона. 3) Болезни легких. 4) Руссо. Исповедь. 5) Родное Слово. 6) Один в поле не воин.

В этих же письмах 1869 г. мы находим очень интересные мысли Кадьяна относительно задач социальной деятельности и различных житейских типов из окружающей среды. В письме к своей младшей сестре Зинаиде Александровне от 15 июня 1869 г. он пишет: «У тебя встречается фраза—зачем же жить? Скажу тебе как я думаю. Мы живем для того, чтобы наслаждаться, но наслаждения для разных людей заключаются в разных вещах. Для одних людей величайшее наслаждение, к которому они постоянно стремятся—это ничего не делать т. е. не работать, спокойно есть, пить и спать, иметь семейство, одним словом это люди, мечтающие о таком семейном счастье, о мещанском счастье. У других к этому желанию прибавляется еще желание хорошей обстановки, комфорта, возможности ни в чем себе не отказывать, а потому желание больших доходов и больших чинов. Большая часть людей, которых ты встречаешь, принадлежит к этому разряду. Его можно подразделить на два разряда: одни считают возможным добиваться этого

счастья только честными (по их мнению) средствами, другие же из них допускают всевозможные средства, их можно назвать подлецами; третьих, наконец не удовлетворяет мещанское счастье, они не нуждаются в особенном комфорте, поэтому им не нужно больших доходов, для них нет наслаждения в ничегонеделании и в глупых удовольствиях; одни из них бросаются к науке и делаются учеными; в научных исследованиях они видят величайшее для себя наслаждение. Более же развитых из них не удовлетворяет и наука, им нужны еще более высокие наслаждения. Тип этих людей—Лео. Что они ищут, чего им нужно—сама знаешь. Каких из этих наслаждений добивается человек определяется его умственным развитием.

Поездки Кадьяна по России окончились 1870 г. В последние годы пребывания его в академии начались поездки его заграницу с больными, которых он сопровождал в качестве студента-медика, а вместе с тем с целью пополнения самообразования. Нельзя не прибавить, что это стремление к путешествиям сделалось даже особенною чертою жизненного уклада Кадьяна и просуществовало до самой его смерти. В конце каждой весны начинались им обсуждения с женой предположений о поездке на один или на два месяца, куда-либо в Западную Европу. Преимущественно на новые места, или же на юг России. Он, можно сказать, изъездил всю Европу. Эти поездки, когда он стал на собственные ноги и в материальном отношении, всегда имели двоякую цель: успокоение нервов и укрепление физических сил, утомленных тяжелой госпитальной работою, свыше 8 часов в день без всяких праздников, (частной практикой Кадьян перестал заниматься с 1905 г.) и профессурою, требовавшею не только чрезмерного умственного напряжения, но и неустанной подготовки. Вместе с тем кроме успокоения, эти месяцы должны были дать, как повидимому это не мало совместимо с отдыхом, возможность осуществления задуманных научных планов и разрешения намеченных научных вопросов, так как зима, с ее ежедневными поденными спросами, не давала возможности сосредоточить мысли.

В 1871 г. Кадьян поехал к своему больному товарищу Барышеву в Пизу, а оттуда вместе с ним и его женою перебрался в Кларан, а потом в Монтрё, где Барышев, страдавший злостною галопирующею чахоткою и умер на его руках. Во вторую поездку 1872 г. он поехал со вдовою Барышева, у которой также показались признаки чахотки; с ней он посетил Меран, Рейхенхаль, Эмс и Гейдельберг.

По поводу этих больных он писал своему отцу 22 июня 1872 г.: «я просто могу считать себя специалистом по климатическому лечению грудных болезней; в эти два лета я перебывал в большей части мест, куда посылают таких больных.

В это время у меня на руках было два, очень типичные по противоположности, случая легочных болезней. В прошлом году Барышев представлял собою образец так называемой галопирующей чахотки и на нем я увидал бесполезность всяких климатов; теперь же у Лидии Павловны слежу за процессом в груди в другом роде: процесс медленный, по временам проявляющийся, временами же совершенно останавливающийся, и на такой больной, как она, убеждаешься, что известный воздух приносит громадную пользу грудным больным; теперь, например, у Барышевой в легких почти ничего не слышно ненормального».

Пополнял он и свое медицинское образование при всяком подходящем случае. Так в 1871 году из Цюриха он пишет отцу (6 июня): «Теперь я аккуратно посещаю университет, хирургическую и терапевтическую клиники, так что все утро провожу на лекциях. Лекции профессора Биршера (клиника внутренних болезней) почти вполне понимаю; хирурга же довольно плохо, он говорит очень невнятно, но к счастью и слушать его приходится немного: у него почти вся лекция занята операциями. Здесь я видел уже несколько таких операций, каких не приходилось видеть в Петербурге. Клиники здесь устроены не лучше нашего, у нас они даже роскошнее. Лекции профессоров не нахожу лучше наших, даже по-моему Боткин лучше читает чем Биршер. Знаний у здешних студентов кажется не более, чем у наших».

В письмах 1871 года он касается злобы дня того времени, парижских событий, коммуны и событий женевских—образование первого интернационала.

Уже при переезде из Италии в Женеву Кадьян ехал с французами, возвращавшимися из немецкого плена на родину. «На одном поезде со мною (письмо от 18 мая 1871 года) ехали пленные французы. Вот то смесь одежд и лиц! В каком они страшном виде, оборванные, одетые кто во что попало; на одном красные кавалерийские штаны и какой-то штатский пиджак и такая же шапка; на другом, из военного костюма уцелела только одна шитая золотом шапка; на третьем рваная зуавская куртка. Все они были очень веселы и радовались, что возвращаются на родину. Куда их пошлет Версальское правительство они не знали, но заявляли, что драться со своими братьями-парижанами они не желают».

Про Женеву в том же письме он пишет, что там очень интересно. «Здесь я бываю на собраниях интернационалистов, последние дни моего пребывания в Женеве был конгресс интернационалов всей французской Швейцарии, который бывает раз в год. Был на собраниях национальной партии. На всех этих собраниях слышал рабочих; говорят о таких вещах, о кото-

рых наши образованные люди двух слов не скажут. Так, на народном собрании, собранном с целью подать адрес в Conseil d'ètât речь шла об обязательном и даровом образовании, об отделении церкви от государства и Вы можете себе представить, что об этих вопросах говорили рабочие и громадная масса народа, состоявшая на половину из простых блузников аплодировала и вообще выражала свое одобрение, а оратор-работник говорил очень хорошо, по крайней мере на мой взгляд... Какое все это произвело на меня впечатление, конечно, Вы сами поймете. Просматривал я женевские планы интернационалов: во всех них парижская Коммуна выставляется делом интернационалов; в самой Коммуне большинство принадлежит к членам этого общества, эти газеты относятся с полным сочувствием к Коммуне».

Еще более крайние мысли высказывает он в письме от 19 июня 1871 г. к той же сестре: «Ужасные события произошли в Париже. Знаешь ли что мне представляется? Ты вероятно читала у Пфейфера или других экономистов о том, что следует обратить внимание на положение рабочего сословия, а не то дело кончится печально, что если буржуазия не сделает уступок, то придет время, когда эта громадная сила рабочих вступит в открытую борьбу и чтобы не пеняли, если эта борьба примет характер нашествия варваров... Конечно, неужели рабочему, которому нечего есть и которого зовет расстреливать старая «щелкушка»—Тьер—жалеть какие-нибудь Лувр и Тюльери; ведь он ими никогда не пользовался, откуда ему знать их цену? Разумеется лучше их сжечь, чтобы не могли пользоваться ими его враги. А верно не очень-то приятно отдаваться во власть Тьеров и Фавров, а может быть и Гизо и Кавеньяка. Когда люди, чтобы только избежать этого, десятками тысяч подставляют свой лоб под пули. Авось все ужасы, которые совершаются в Париже, заставят открыть глаза самодовольную буржуазию [1])».

В конце первого путешествия Кадьян провожал после смерти Барышева его вдову через Вену. Во время пребывания там он получил программу журнала «Вперед», о котором имел беседы с нашими эмигрантами в Женеве. Эта программа, переписанная его рукою, в процессе 193 являлась чуть ли не единственным главным доказательством принадлежности его к партии народников-пропогандистов.

---

[1]) Я делаю эту чрезвычайно любопытную выписку, чтобы читатель мог сравнить на сколько нынешняя горькая русская действительность потрясла существо этого кристального сердца. И не выдержало оно грязи и надругательства над сущностью социализма под флагом нового интернационала; он умер тем же народником, как и был, но с ужасом видя, как поруганы чаяния и верования его молодости.

Конец второго путешествия совпал с окончанием курса в Академии и Кадьян стал задумываться о своем дальнейшем жизненном пути.

Относительно этого имеется любопытное письмо его к сестре от начала августа 1872 г. «Последнее время меня очень занимает вопрос, что с собою делать, когда кончу курс? Кажется я окончательно остановлюсь на прежнем своем плане т. е. через месяца два по окончании экзаменов возьму место земского врача и отправлюсь жить куда-нибудь в деревню. Полагаю, что это будет лучше на следующих основаниях: прежде я хотел года два по окончании курса заняться разными науками, отчасти медицинскими, но главным образом другими; теперь же я думаю, что лучше будет сперва пожить с народом, поприсмотреться к нему и лучше узнать нашего крестьянина; побыв года два земским медиком, составлю себе более ясное понятие чем теперь, что можно делать? чем можно быть полезным? при этом выяснится, чего не хватает, каких знаний нет, которые были бы нужны; пригодна ли к чему-нибудь медицина, нужно ли в ней совершенствоваться или нужно забросить, как никуда негодную вещь? Если теперь решать все эти вопросы теоретически, то есть много вероятий, что ошибешься, так как решение будет построено без знания народа, без главнейшего основания. Одно неудобство, придется приступать к званию врача преждевременно, при этом у меня очень мало веры в свои знания; по временам кажется, что это своего рода мошенничество, браться за то дело, которое сам не надеешься выполнить, как следует. Но что же делать, ведь так получается бесконечный круг, который все же надо где нибудь прорвать, ведь можно утешаться в этом случае тем, что другие врачи не особенно лучше меня».

2) Кадьян Земский врач.

По окончании курса в Академии Кадьяну было сделано предложение остаться при Академии для подготовления к профессуре, но это не только не соответствовало его социальным мечтам, но даже и его воззрениям на научные требования. Как мы видели, он был всецело против специализаций, хотя бы и относительно широких: это противоречило его народно-социалистическому мировоззрению. Он решил сделаться земским врачем.

У него в виду было два приглашения от земств: в Новгородскую и в Самарскую губ., в гор. Николаевск. Он избрал последнее. Он считал, что Поволжье по своим традициям более подходящая почва для осуществления его социальных идеалов, и

кроме того думал, что Самарская губерния, как житница России, более пригодна для рациональной народно-врачебной деятельности, так как он всегда говорил, что терапия без гигиены не может быть поставлена целесообразно среди крестьянства, и что в этом заключается отличие научной медицинской помощи от знахарства.

Но тяжелые условия русской жизни, некультурность страны и страшный монархически чиновный строй государственной жизни разрушили многие иллюзии Александра Александровича. Его переписка 1873 и 1874 г.г. дает драгоценный материал не только для личной, но и для бытовой жизни этой эпохи, но я не могу и пытаться исчерпать ее в настоящем кратком очерке.

Кадьян поехал в Николаевск по Волге. Как и в описаниях заграничных путешествий, он сравнительно кратко и поверхностно останавливается на природе, а преимущественно свое внимание сосредоточивает на жителях. В его эпистолярном стиле, если не отсутствует, то занимает второстепенное место лирика, а преобладает эпос.

В Нижнем-Новгороде его поразила ярморочная сутолока и торговое оживление Нагорной части, а сравнительно мало,—чудные виды, открывающиеся с Кремлевских высот Нижнего на Заволжье. Не произвели на него особого впечатления и мягкие тоны очертаний «Жигулей», которых он не мог по красоте и сопоставить с готикою Рейнских скал и высот.

Хотя он получил место в Николаевском земстве, но начал он свою деятельность не в городском участке, где оставался пока старый врач, а в селе Балакове, где он принял в свое ведение небольшую больницу на 10 кроватей и значительную амбулаторию.

В своих первых письмах он жалуется на два главные врага его местной жизни. Первый, касающийся лично его и его деятельности—это нечистоплотность и грязь, и как их естественное дополнение—господство паразитов. Во всяком доме в Балакове каждая квартира просто азиатский клоповник. Первые ночи я положительно не мог спать. Как только я засыпал, тысячи клопов покрывали мою подушку и постель, и от их укусов я просыпался. Непривлекательно с точки зрения гигиены и описание его больницы (письмо от 22 августа 1873 г.) «В гигиеническом отношении больница плоха, еще когда открыты окна, то воздух ничего сносный, но при закрытых отвратительный; белья очень мало, его меняют раз в неделю; еда ничего сносная; вследствие грязи больница изобилует всякого рода насекомыми: тараканами, клопами, вшами, хотя я и веду со всеми этими зверями неустанную борьбу, но до сих пор довольно неудачно. Уход за больными у меня не может быть хорош, так как у меня

в Балакове всего один фельдшер. Но при всем том больница это благодеяние». В одном из писем он приводит описание поездки по его округу и описание больных и их положения. Сплошной ужас! «Вчера», пишет он (письмо от 22 августа) «я просто пришел в ужас от осмотра больных: от неровной подстилки у них образуются пролежни, подостланная грязная одежда преет и гниет; под одной больной, которая лежит недели с две оказалось масса червей. Что значат больничные тараканы в сравнении с червями, заводящимися у живого еще человека?

Второй враг это некультурность даже более зажиточного класса и притом не только купечества, но и так называемой интелигенции т. е. местного чиновничества. За очень и очень редкими исключениями нельзя было найти отдельных лиц, которые выписывали бы научные книги или журналы. Даже повседневная пресса выписывалась в самом ограниченном количестве.

Но к общим очень тяжелым условиям интелектуальной жизни прибавилась специальная так сказать временная невзгода. «Представляете ли Вы себе», писал он уже 27 июля 1873 г., «что этот край, который считается житницею Европы, так беден, что крестьянам есть нечего, что у них положительно нет хлеба... Голод объясняется неурожаями, которые были последние два года вследствие засухи, и беспорядочным хозяйством администрации». В письмах от 6 октября 1873 года он пишет: «Ведь где я ни проезжал, песня все одна и та же—голод и голод; хлеба совершенно не уродилось или очень мало; что уродилось продали, чтобы заплатить подати». Администрация в лице губернатора Климова представляла, что все жалобы на голод есть плод измышлений крамольного крестьянского Самарского земства. Как писал Кадьян (7 сентября 1873 года) губернатор одному лицу, который говорил ему о голоде, сказал, что он поверит голоду только тогда, когда вскрытием умершего будет доказано, что смерть последовала от голода. Бузулукский и Николаевский уезды умирали голодной смертью, а губернатор выколачивал недоимки. Наконец Самарскому голоду поверили. Открыли и в центре России, в Петербурге и в Москве, и на местах в Самарской губернии ряд учреждений, спасавших голодных крестьян от ужасов недоедания.

Александр Александрович ни по характеру своему, не по свом убеждениям, ни даже по условиям своей жизни и обязанностей, не мог не вступить в ряды деятелей по помощи голодающим. По его инициативе возник в Петербурге частный кружок помощи, который выбрал Кадьяна своим уполномоченным. Суммы, собранные этим кружком были настолько велики, что он мог содержать до 700 едоков из трех деревень, которых он и кормил в течение целой зимы и начала весны.

Хлопоты по помощи голодающим, отчетность, брали конечно много времени, но увеличивалась и медицинская его практика, как видно из писем, ему пришлось сделать много серьезных операций, а в одном из писем (5 ноября 1873 года) он определенно высказывает мысль, что если будет заниматься какой-нибудь отраслью медицины, то наверное остановится на хирургии. Хирургические больные меня всего более интересуют.

Весна 1874 года была благодатна для урожая, она несла крестьянам надежду на поправку условий жизни. Но лично для Кадьяна это лето грозило новыми и тяжкими страданиями. В 1874 и 75 годах над Россией разразился многоизвестный жандармо-полицейский погром, так называемая «Жихоревщина» по имени председателя следственной комиссии сенатора Жихарева. Особенно крепко охватил его розыск нашу юго-восточную окраину, в частности Поволжье, начиная с Саратова. Розыскивались корни и условия распространения, наиболее идеалистической формы пропоганды социалистических идей, так называемой пропоганды народничества. Захватили эти волны и Кадьяна, привлеченного к этому дознанию в качестве центра кружка города Николаевска.

3) *Кадьян под следствием и судом.*

Арестованный в июле 1874 года Александр Александрович провел целых три года в одиночных камерах тюрем Самары, Москвы и Петербурга и появился в числе главных подсудимых в известном процессе 193-х, где ему было отведено одно из главных мест. Хотя переписка его в это время и сохранилась, но она вся проходила через тюремную цензуру и потому особого интереса не представляет. Можно сказать только, что и в эти долгие годы Александр Александрович не падал духом. Как только он прибыл на последний этап—Петербургскую тюрьму, он стал продолжать научные занятия, и читать преимущественно специальные медицинские книги по хирургии, акушерству, общей патологии. В тюрьмах он усердно занимался английским языком и основательно изучил его; там-же начал он изучать итальянский язык.

Процесс в Особом Присутствии Сената начался 18 октября 1877 года и окончился 23 января 1878 г. По обвинительному акту Кадьяну было предъявлено не только обвинение в принадлежности к преступному сообществу, имевшему целью низвергнуть существующий государственный строй в отдаленном будущем, преступление, предусмотренное во 2-й ч. 250 ст. Улож. о нак., но и в преступной пропоганде (ст. 251); при

этом Кадьян был поставлен в числе главных виновных и обвинитель требовал применения к нему высшего из наказаний т. е. каторги на срок. В речи обвинителя Кадьяну было отведено чуть ли не первое место, так что защитник подсудимого Щепкина В. Д. Спасович в своей речи, говоря об юридической бессодержательности предъявленного к привлеченным обвинения вообще, и о невозможном отношении обвинителя к большинству обвиняемых в отдельности, из которых, о некоторых товарищ обер-прокурора вовсе не представил какихлибо доказательств виновности, даже не упоминал о них, Спасович картинно высказал: «обвинение можно уподобить песчаной степи вроде Сахары, на которой высятся две пирамиды, из которых одна великая—Кадьян, а другая маленькая—Щепкин, а остальные участники—простые песчинки». На этом процессе я выступил в первый и единственный раз в моей жизни защитником. В течении судебного следствия я представил ряд доказательств, собранных мною лично на месте деятельности Кадьяна в Николаевске, опровергающих фактическую сторону обвинения и хотя обвинитель в своей речи всемерно поддерживал обвинение во всех частях, но Особое Присутствие выслушав мою шестичасовую защиту Кадьяна, оправдало его по обоим, предъявленным к нему обвинениям, и возвратило ему гражданскую жизнь после трех с половиною лет тюремного сидения в предварительном заключении.

Теперь бросая ретроспективный взгляд на это дело, нельзя не признать всей юридической несостоятельности обвинения Кадьяна и справедливости по отношению к нему оправдательного приговора Особого Присутствия. Процесс 193-х с предшествовавшим ему дознанием, к которому были привлечены многие сотни, даже, как говорили, тысячи молодежи [1]), это болячка или гангрена громадного государственного тела наглядно свидетельствовала, что государственный строй самодержавной России и тесно переплетенный с ним общественный уклад ее, это были, по евангельскому выражению, гроб поваппленный, внутри коего тлен и мерзость запустения.

Я привел выше несколько выдержек из писем Кадьяна свидетельствующих о социальной идеологии его юношеских лет; переход в практическую жизнь и деятельность не уменьшил, а усилил коэфициент его требований. Так же глубоко презирал он правительство с его стремлением забивать всякие проблески самостоятельности в общественной жизни, всякое стремление к свободе мысли и слова, всякое культурное начи-

---

[1]) Компетентный свидетель, жандармский генерал Новицкий („Былое" №№ 5 и 6 1917 г.) говорит, что всех арестованных т. е. привлеченных по 26 губерниям, не исключая и столичных, было более 4 тысяч человек.

нание; так-же неприязненно относился он к чиновничеству, погрязшему в мелочах утробной жизни, проникнутому только интересами своей формальной деятельности. Отсутствие разумных интересов, необразованность или вернее некультурность среды, в которой ему приходилось вращаться и среди которой была лишь горсточка лиц, в беседе с которыми он мог отдохнуть усталый, после тяжелого трудового дня, изводили его. Оттого в письмах он так жаловался на скуку одиночества, так умолял сестер приехать к нему; оттого так радушно относился он к наезжавшим в Николаевск лицам нелегального образа мыслей, налетавшим, как ночные бабочки, на приветный огонек молодого доктора. Крайне враждебно относился Кадьян и к мелкому торгашеству или кулачеству в виде клеща присосавшемуся к корявой шее землеробов. Но так же не идеализировал он, подобно другим народникам, и самих забитых крестьян. Он жалел этих бесправных, угнетенных вечным недоеданием, нищих среди плодородной кормилицы земли, могущей сторицею вознаградить разумный труд своего обладателя. Но во всем этом отрицательном отношении к окружающему не было преступной деятельности, не было ничего подходящего даже под расплывчатые статьи нашего Уложения о наказаниях с его драконовскими постановлениями о преступлениях государственных, даже в той нелепой его структуре, как ниспровержение государственного строя в отдаленном будущем. Кадьяна обвиняли в том, что он был главою местной пропоганды, а он не только объективно не имел на это времени, но как сознавался он неоднократно в письмах, у него не было и способностей пропогандиста. При нормальных условиях государственной жизни из него мог выработаться выдающийся тип государственно-общественного деятеля, вроде врача Шингарева, а государственные власти калечили ему жизнь и требовали ему каторги, как для бунтаря! Обвинитель, чистый представитель бюрократического мышления, не мог понять и не мог поверить, чтобы умный человек, каким и он признавал Кадьяна, мог искренно пренебрегать теми формами и внешними условиями жизни, в которых вырос и вращался сам обвинитель. Он видел ложь и придуманность в объяснениях Кадьяна относительно доверчивости его ко всякому молодому, неиспорченному или увлекавшемуся представителю молодой русской жизни.

Но правде удалось восторжествовать и поставленный в кучке главных обвиняемых, так сказать в красном углу процесса, Кадьян был оправдан и освобожден. Обвинению злобствовавшему на снисходительной исход суда, на то, что бюрократическая гора родила мышь, удалось только добиться того, что правда была скрыта от русского общества, что не только речи защиты, но даже стенографический отчет судебного след-

ствия были запрещены к оглашению, а напечатанный на частные средства защиты первый том отчета, торжественно дозволенный к стенографированию Особым присутствием, был сожжен.

В это время разыгралась русско-турецкая война 1877—1878 г.г. и Кадьян уже в феврале 1878 г. отправился в действующую армию в качестве доктора Красного Креста. В начале апреля он приступил к работе, но после очень краткого промежутка он схватил страшный сыпной тиф, из которого еле выбрался живым к маю 1878 г. В 1878 г. Кадьян возвратился в Петербург. Он предполагал приступить к докторскому экзамену, но опять неумолимая судьба распорядилась иначе.

4) Кадьян административно ссыльный по оправдании.

Уж в мае 1879 г., после неоднократных обысков у него и у живших с ним членов его семьи, без всяких юридических оснований и даже фактических поводов, так как, у него ничего подозрительного ни разу найдено не было; несмотря на прекрасные свидетельства и отзывы о его медицинской деятельности в армии на Дунае высокопоставленных уполномоченных; оправданного судом Кадьяна ссылают административным порядком в Симбирск под надзор полиции. С материальной стороны эта ссылка была очень не тяжела Кадьяну, но она сопровождалась целым рядом бессмысленных нравственных уколов, унижений и т. п., так что данные этого периода, на сколько они отражаются в переписке, дадут будущему историку политико-общественной жизни нашего мудреного для понимания отечества, любопытный материал.

Вскоре после приезда в Симбирск в жизни Кадьяна произошло событие существенно изменившее весь строй его личной жизни и прекратившее тяготившее его одиночество, на которое он так жаловался в своих письмах к сестрам из Николаевска. Он женился на баронессе Анне Юльевне Нольде, последовавшей за ним на место ссылки и оставшейся затем его любящим женою-другом до последнего часа его жизни.

Ко второму году ссылки Кадьян, благодаря своим знаниям, труду, добросовестности приобретает большую популярность в Симбирске. Его докторские визиты и приемы длятся с утра до позднего вечера, иногда почти без отдыха; материальное обеспечение его растет: он обставляет себя известным комфортом, даже заводит собственных лошадей; у него лечится весь город т. е. не только нуждающиеся классы, для которых у него всегда открытый прием, но и Симбирская чиновная и дворян-

ская аристократия: судьи и прокуроры, полицейские чины и даже высшего порядка, даже жандармские власти (письмо 13 сентября 1880 года). Бывает он желанным участником во всякого рода собраниях и в то же время, не говоря уже о том, что он не может быть земским врачем, он не может поехать за реку (за Волгу) к пациентам и знакомым местным родовым тузам, которые даже хлопочут о разрешении его врачебных посещений их, как больных, в Петербурге. Это запрещено только на том основании, что та сторона Волги уже другая губерния и на это запрещение всякого выезда из Симбирска ему тщательно указывают местные полицейские власти. Его приглашают читать лекции в фельдшерскую школу, но с тем, чтобы он читал их не в здании школы, а в больнице; в получении жалования за лекции расписывается другой врач; он как доктор становится поволжскою знаменитостью, к нему приезжают больные из Саратовской, Самарской губерний, а на месте жительства его крайне затрудняются утвердить ординатором больницы, хотя у него целое отделение больницы (сифилитическое) и палата оперируемых больных в хирургическом отделении и т. д. и т. д.. и это, прибавлю, при том обстоятельстве, что даже сам губернатор отзывался о нем и его деятельности в Симбирске с хорошей стороны, но он *оправданный* подсудимый! Не страничка ли это из комедии всемирной истории?

Этот опереточный надзор, основанный на принципе: «видеть, не усматривая» затянул медицинскую карьеру Кадьяна. В начале ссылки он полагая, и не без оснований, что ему не позволят поехать в Петербург для получения степени доктора, Кадьян отложил подготовку к окончанию экзаменов и собрание материалов для диссертации до будущего. Только в 1882 г. ему было разрешено в первый раз отправиться в Петербург на короткий срок, на похороны сестры—Зинаиды Александровны.

Наконец в 1883 году Кадьян начал сбираться за границу на более долгий срок, на десять месяцев, с тем, чтобы за это время окончить дело с докторским экзаменом и защитить диссертацию. Но и эти предположения пришлось несколько изменить: сильная болезнь задержала его в Симбирске и заставила сократить срок пребывания за границей. Он выехал туда только в мае 1883 г. и после короткого пребывания в Содене провел шесть месяцев в Гейдельберге, где работал у проф. Черни, а затем в Париже. В октябре 1883 г. он вернулся в Петербург, где наконец выполнил задуманное.

В мае 1884 г. он опять возвращается в Симбирск и возобновляет свои докторские обязанности.

Оценка и даже специальный очерк медицинской деятельности Кадьяна превышает мою компетентность и поэтому я

ограничусь только приведением некоторых наиболее выдающихся данных, доводя биографию его до пределов моей задачи т. е. до начала его профессуры.

Симбирск встречает Кадьяна чрезвычайно радушно. Возвращается к нему его прежняя огромная практика, популярность и материальное благосостояние. В письме к жене от 19 мая 1884 года он пишет: «Симбирск меня встретил очень хорошо... Меня стали приглашать с первого же дня приезда и старые, и новые пациенты... Больные ходят на дом, но я еще не устроил приема, да и инструменты надо сперва достать. Принял только несколько человек и оказались все тяжелые случаи, все для операций, и что приятно, сами желают их. Говоря искренно, этот прием меня в Симбирске, это доверие ко мне больных доставляет мне большое удовольствие и сознаюсь, настроение мое очень хорошее»... В письме от 27 мая: «Жизнь у меня пошла прежняя: больница, визиты, прием больных. Вчера делал первую операцию после возвращения в Симбирск. Сделал ее как мне кажется хорошо, спокойно, стараясь применить правила антисептики; первые сутки после операции прошли хорошо (больному сделана ампутация голени); но сегодняшний вечер разбил все мои надежды: температура поднялась до 39,8. Зачем это я для своей специальности избрал хирургию; ведь это вечное волнение, недовольство собой. Сегодня после 7 часов вечера когда я был в больнице, только и вертится в голове 39,8, 39,8... Неужели первая же операция будет неудачная? Правда, я знаю, что такая антисептика как у Черни или Рейна может быть осуществлена только через несколько месяцев... Но все таки обидно: то хорошее настроение духа, которое у меня было эти дни с сегодняшнего вечера исчезло. Утешаюсь одним, что никто бы в Симбирске не сделал бы операцию лучше меня». Письмо от 30 мая: «Практики у меня много, больных на приемах тоже, вообще все то же, что и до отъезда заграницу и я уж начал к концу дня уставать».

В письме к сестре от 14 марта 1886 г. Александр Александрович пишет: «Эта вечная усталость, необходимость постоянно торопиться, чтобы успеть объехать всех больных, отсутствие возможности почитать, подумать, заниматься чем-нибудь, делаются невыносимыми. Перспектива продолжать такую жизнь без конца совсем не улыбается... Я поставил хирургическое отделение в больнице так, как оно никогда здесь не стояло; имеется большой хирургический материал. Но это достигнуто, и ничего другого Симбирск дать не может, а хочется другого, этого мало».

Но рядом с ростом популярности росли и враждебные течения; они сосредоточились в Земской Управе и без того не либеральной, теперь еще более поправевшей с преобладанием

в ней крайних правых, так называемой «Пазухинской партии», не могшей забыть, что Кадьян политический подсудимый. И к 1888 г. эта партия взяла верх.

В силу этого, несмотря на всю популярность Кадьяна в Симбирске, несмотря на то, что он поднял хирургическое отделение на большую высоту, ему пришлось оставить земскую больницу и продолжать свою деятельность в частной лечебнице, им для того устроенной.

Эта интрига окончательно оттулкнула Кадьяна от Симбирска. Хотя либеральная партия всячески старалась загладить неприятность, устроенную ему правыми, хотя со всех сторон обращались к нему с просьбами не покидать Симбирск, поднесли ему адресс, написанный очень тепло и покрытый многочисленными подписями. Подписавшие выражали ему: «Мы все привыкли обращаться к Вам не только как к искусному врачу, но и как к доброму, любящему ближних своих человеку, внимание и участие, которого поддерживают дух страждущего и окружающих его. Если просьбы благодарных пациентов могут поколебать Ваше решение, мы будем счастливы по прежнему прибегать к Вашим знаниям и опытности для облегчения наших недугов, но каково бы ни было Ваше решение, мы никогда не забудем того, чем мы Вам обязаны, и от всего сердца говорим Вам наше искреннее, душевное спасибо, моля Всемогущего Бога да продлит он Вашу жизнь на многие годы, и да подаст Вам силу еще долго продолжать Ваше плодотворное служение обществу».

Но стремление к новой деятельности и на новом месте преодолело, и 1 ноября 1888 г. Кадьян переехал в Петербург навсегда.

5) *Кадьян профессор женского медицинского института.*

Тотчас же он начал работать в хирургическом отделении муж. Обуховской больницы у д-ра Троянова, а в марте того же года получил временное место в городских Богадельнях, где в это время по инициативе и при ближайшем руководстве Сергея Петровича Боткина было предпринято исследование всего населения богадельни, результаты которого и были напечатаны в весьма известном и научно чрезвычайно интересном их описании: «С.-Петербургские Градские Богадельни». 1890 года с предисловием А. А. Кадьяна.

Как относились к нему в Богадельне, можно судить по отрывку из его письма от 27 июня 1889 г., относящегося к возвращению его из Богаделен обратно в Обуховскую больницу. «В Богадельне уже подали Боткину прошение об отавлении

меня там врачем... Я могу гордиться, что в течение 4-х месяцев я приобрел такое расположение обитателей Богадельни и при этом, как мне кажется, администрация тоже расположена ко мне.»

В больнице Кадьян заменил уехавшего в отпуск д-ра Троянова, оставив за собою и разработку собранного по Богадельням материал. «Дела столько», пишет он «что дохнуть некогда, но настроение у меня это время хорошее, гораздо веселее, чем было зимою». Одновременно в другом письме к жене от 11 июня 1889 года он говорит: «Вчерашнее утро доставило мне большое удовольствие; я был в Обуховской больнице и видел сестру моего отделения, она встретила меня с такой искренней радостью, уверяла меня, что и она, и больные ждут меня с нетерпением. Что она говорила искренно, доказывается тем, что во время нашего разговора подошли ординаторы, теперь заведующие VI отделением и она им сказала, что очень желает, чтобы я поскорее возвратился и стал у них работать. Для меня это очень приятный факт, значит не одне старушки, но и действительные больные могут ко мне хорошо относиться и в Петербурге».

После возвращения Троянова из отпуска, Александр Александрович продолжал работать в Обуховской больнице, и в мае 1890 г. был назначен хирургом женской Обуховской больницы. Здесь он работает до перехода в Петропавловскую больницу 13 июня 1895 г.

С открытием Женского Медицинского Института Кадьян сделался его профессором, но эта последняя часть его деятельности уже не входит в мой очерк.

Я закончу личным воспоминанием. Кончина Кадьяна 16 ноября 1917 г. спокойная, безболезненная, была своего рода наградою Провидения за его многотрудную и высокополезную жизнь и деятельность. Все утро этого дня он читал лекции и делал до 6 часов обход больных: потом, после обеда посетил больного племянника Н. Н. Таганцева, сделал ему перевязку, а воротившись домой приготовился к лекциям следующего дня; затем, во время вечернего чая стал читать вслух жене телеграмму из ставки Крыленко о его подвигах; и когда больное сердце Кадьяна, органически не выносившее хвастовства и лжи, вероятно болезненно сжалось от мертвящей мысли о несчастной родине, Кадьян только сказал: «Мне что-то нехорошо», и его бессмертный дух воспарил туда, где нет ни печали, ни воздыхания.

Спи, дорогой друг и брат: земля да будет тебе легка.

12-го марта 1918 г.

ГОЛОС РОССИИ В 1905 году О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ.

---

1) *Общия замечания.*

Указ 18 февраля 1905 г. Правительствующему Сенату, (Собр. узак. 245), данный в один день с манифестом, предоставил «всем Россиянам, «радеющим об общей пользе и нуждах государственных» обращаться к власти Верховной, чрез Совет Министров, с предположениями об усовершенствованиях государственного благоустройства и народного благосостояния, а на Совет Министров возложил рассмотрение и обсуждение этих предположений. Однодневно с этим указом и манифестом был опубликован и третий акт воли Государя—рескрипт на имя того же Булыгина. В этом последнем волеизъявлении Государь, выражая благодарность за принесенные ему из разных частей России поздравления с рождением Наследника, прибавлял, «что он вознамерился привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей *к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений*, прибавляя, однако, что эти преобразования должны быть осуществлены в известной последовательности и с осмотрительностью, обеспечивающею неразрывную связь с прошлым, и подчеркивал: «при сохранении незыблемости основных законов Империи».

Соответственно указу с разных концов взволновавшейся России стали поступать в Канцелярию Совета Министров разнообразные заявления, постановления, соображения, которые приводились в порядок и печатались. Начиная с 1 мая 1905 г. по 16 июня вышла первая серия этих замечаний, всего 65, а затем постепенно стали выходить позднейшие выпуски, всех 28,

в которых помещено 216 заявлений [1]. Продолжались они почти до первого Петергофского совещания, а затем, по указу 6 августа, действие указа 18 февраля прекращено и печатание заявлений не продолжалось.

Конечно, по отношению ко всей массе лиц, приглашенных указом высказать свои мнения и предположения о переустройстве или усовершенствовании государственного уклада России, эти 200 заявлений представляют количественно ничтожный процент, но самое появление их, а еще более заявленные ими предположения, имеют весьма большое значение для истории развития общественной мысли в России.

Я полагаю, что в них высказался наиболее экспансивный элемент массы, так сказать, сангвиники общественных ячеек, подобные ораторам, которые выдвигаются, как говорящий элемент толпы, на всяких митингах и собраниях.

При этом я думаю, что при краткости срока посылки таких заявлений в Совет Министров, (менее 6 месяцев), едва ли можно предполагать, что среди них было много подстроенных, провоцированных заявлений,—те направлялись по иному руслу!

На этом основании мне кажется, что систематическое обозрение этих заявлений может послужить большим подспорьем для понимания и оценки печатаемых мною очерков «пережитого», относящихся к пересмотру государственного строя России в 1905 и 1906 г.г.

Но и помимо этого субъективного значения, сводка и обозрение этих работ, по своему содержанию, имеет и несомненный общественный интерес, относясь к эпохе, переживаемой Россией в бурный период ее новейшей жизни и давая любопытный материал для изучения эволюции общественно-политической мысли нашего общества этих годов.

Мне казалось бы возможным уподобить или, по крайней мере, сопоставить этот свод заявлений со сводом наказов данных членам Екатерининской комиссии 1767 года. А мы все знаем, какой не только любопытный, но и неоцененный материал для истории общественной жизни XVIII века России представляют эти последние документы.

Скажу сначала о внешней структуре материала, а потом о его содержании.

---

[1] По нумерации свода замечаний их 211; но так как четыре номера по корректурному недосмотру повторены, и одно номера не имеет, то я считаю всех 216. Вероятно, заявления продолжали поступать и после прекращения печатания свода.

2) *Распределение материала.*

Распределяя по группам присланные замечания, я разделяю их на две категории: I) от общественных установлений (118) и II) от других единений и частных лиц (98). В первую категорию входят: 1) заявления земств; 2) крестьянства; 3) мещанства; 4) купечества и 5) дворянства. Во вторую: различных организаций и единений и 2) отдельных лиц [1]).

[1]) Считаю нужным оговорить, что подлинных заявлений я не видел. Они мне известны только в печатанном виде т. е. в изложении тех чинов канцелярии Комитета министров, на которых была возложена обязанность их просмотра и, так сказать, цензирования. Могу только заметить, что канцелярия пользовалась этим правом весьма широко и неравномерно. В общем она сильно потрепала „заявления". Это можно видеть из того, что из 216 заявлений 90 *несомненно* подверглись известного рода кастрированию. Я подчеркиваю слово „несомненно" потому, что число напечатанных с пропусками можно определить с известною точностью, а в числе отнесенных мною к группе заявлений напечатанных полностью могут оказаться и урезанные, но не имеющие видимых, распознаваемых признаков цензирования. С точностью это могло бы быть определено только путем сопоставления напечатанного с подлинником или при помощи вполне имоверных свидетелей. Далее, цензура была неодинакова для различных категорий заявлений. Конечно, это могло зависеть и от личных особенностей цензировавшего, и даже от времени цензирования—в начале или в конце печатания это было. Во всяком случае статистическия данныя таковы:

Заявления представителей дворянства напечатаны, повидимому, полностью в с е (шесть). Заявления земств п о ч т и в с е—сокращено одно из семнадцати. Из заявлений городских дум подверглась цензурным урезкам о д н а д е с я т а я ч а с т ь — четыре из 45; из заявлений различных общественных учреждений и единений сокращены п о ч т и 1/3 (18 из 51): из заявлений частных лиц р о в н о о д н а т р е т ь (16 из 49), а из заявлений крестьян и их учреждений изменены канцелярскою цензурою две трети (33 из 51). Дабавлю еще: из двух единичных замечаний, так сказать, „уникумов"—одно от мещанского общества (№ 10) напечатано без изменений, а заявление 1600 ялтинских рабочих сильно сокращено.

Было бы, конечно, весьма опрометчиво сказать, что заявления крестьян были нарочито нелегальны, или не соответствовали правилам поличической пристройности, той допустимой свободы мнений, которая была установлена, или с которой мирилась канцелярия Совета Министров, но это был бы полет в туманную область предположений, так как может быть значительная часть изменений об'ясняется их стилистическими недостатками, или даже их орфографическою неграмотностью. Все это может быть, но таковых предположений, за отсутствием для того данных, я, высказывать не дерзаю.

Точно также не берусь делать никаких предположений, а тем паче выводов по содержанию проявленной канцелярией строгости цензуры и о той степени „крайности" мнений какой-либо группы заявителей, которая вызывала такую энергию цензорского карандаша. В этом отношении не могу только не сказать, что и среди того, что пропущено, было многое, что должно было весьма резать чиновничье ухо, привычное, только к верноподданическим словословиям.

Было бы желательно, если это возможно, от'искать подлинники и тогда сделать, если понадобится, надлежащие дополнения к моему бозпритязательному очерку.

Я не берусь определить и по первой категории процентное отношение приславших ко всему числу лиц входящих в данную группу; не только потому, что это потребовало бы очень длительной работы, но и потому, что это было бы бесполезно, так как останутся неизвестными причины этого воздержания: несочувствие, косность, несвоевременность собраний, прямые препятствия. Сделаю только маленькие указания, воздерживаясь от каких-либо выводов и предположений по этому поводу. Так, отсутствуют какие либо заявления со стороны духовенства и притом не только высших иерархов, но и приходского духовенства. Не могу не заметить, что какие либо съезды приходского духовенства по этому поводу, конечно, едва ли были возможны, но между присланными не было и отдельных голосов. Не было заявлений ученых и учебных заведений, как высших, так и средних; в очень небольшом числе заявляли о себе только учителя народных школ. Безмолствовали голоса отдельных ученых юристов, хотя, впрочем, свод заявлений и начинается с изложения мнения двух приват-доцентов Петербургского университета, но имена которых очень мало известны. В числе отзывов общественных единений встречается отзыв лишь одного юридического казанского общества; нет замечаний от советов присяжных поверенных, даже от отдельных членов сословия, кроме только заявления присяжного поверенного Козловского.

Обращаясь к отдельным группам приславших заявления начну с заявлений земств. Они разделяются почти пополам (по 9)—губернские и уездные, хотя, конечно, %-ное отношение совершенно различно, в виду огромной численной разницы этих групп; далее не могу не отметить, что значительная часть присланных заявлений была от экстренных собраний, так как обсуждение их пришлось на неурочное для земских собраний время. Обыкновенное время собраний падает на позднюю осень и зиму, а здесь приходилось собираться весною и в первую половину лета, т. е. в такое время, на которое падают сельские работы. Наконец, не могу не отметить, что очевидно такие собрания «по особому поводу» не пользовались сочувствием местной администрации, как об этом и заявляли некоторые из земств: так, Нижегородское уездное земское собрание, постановляя представить свое заявление непосредственно *председателю* Совета Министров, заявляет, что представление в общем порядке встречает препятствие со стороны местных административных властей, признающих этот вопрос *выходящим из компетенции земства.* Еще резче заявляет об этом Малмыжское уездное земское собрание: административный строй ставит препоны; «нам запрещают в земском собрании повторять даже Ваши слова, Государь, преграждается путь, открытый Вашим Вели-

чеством, дабы голос правды мог восходить до Вас, а потому гласные и члены уездного собрания вынуждены собраться в частном заседании». О таком же затруднении созыва собрания местною администрациею указывается и в заявлении Уфимского земства, которое пришло даже к такому заключению, что «для возможности обсуждения в земстве вопросов, о которых последует особое Высочайшее повеление, согласия администрации вообще испрашивать не следует».

Заявления дворянства были не только немногочисленны, но и все без надлежащей мотивировки, а в виде выводов, причем несколько подробнее было заявление дворянства Ярославского и дворян Донской Области, хотя и они имели характер постановлений, не обоснованных мотивами. Обстоятельнее было изложено постановление Нижегородского дворянства, хотя тоже в общей форме. (№ 180).

Более значительными по численности (42) были заявления городских Дум, хотя и они весьма не равномерны. Некоторые Думы, как и земства, входили в обсуждение общего положения дел; делались ссылки на постановления съездов, в особенности на ноябрьский съезд 1905 г. Тон многих из них был таков, что канцелярии не раз пришлось прибегать к силе цензорского карандаша,—как будет видно далее при изложении содержания заявлений.

Заявления крестьянских обществ распадаются с внешней стороны на две группы: постановления сельских или волостных сходов или соответствующих им собраний, и заявлений просто от крестьян, или обывателей известной сельской местности. Затем надо отделить постановления русских крестьян и постановления инородческих сельских обществ—латышей, эстов, литовцев и затем сельского населения юго-западной окраины; все последние имеют в виду преимущественно заявления об их национальных нуждах. Совсем не встречается заявлений от татар, от инородцев восточной России, от казачества, от кавказских местных собраний. Мало заявлений от малороссийских или, по новому, украинских сельских общин.

От мещанских обществ напечатано только одно заявление от Великолуцкого мещанского общества (№ 10).

Гораздо труднее дать общую внешнюю характеристику второй группе заявлений и в особенности тем, которые я отнес к общественным организациям. Наибольшее число падает на заявления различных сельско-хозяйственных обществ (24 из 66), на единения по содействию народному образованию (8); в меньшем числе представлены технические общества (3), общества врачей (2) и т. п. Я отнес к этой же категории и единственное заявление 1627 рабочих города Ялты, напечатанное в своде заявлений (№ 32) без объяснения—какие это рабочие:

заводов, фабрик или, например, винных складов, хотя это в особенности трудно определить потому, что оно относится к Ялте.

Последнюю категорию составляют заявления частных лиц и она имеет наименьшее значение, так как очевидно состав их совершенно случаен, что можно видеть из перечня приславших лиц: два приват-доцента университета, два действительных статских советника, четыре дворянина, два барона, один полковник, один преподаватель истории, один присяжный поверенный и т. д. Сюда же пришлось отнести совершенно неопределенные групповыя единения: жители города Кишинева (?), без всякого указания—какие, кто? или заявление 85 лиц, проживающих в гор. Вятке, кишиневских евреев и т. п. Наконец, сюда же пришлось отнести заявление 18 москвичей, во главе которых подписался Федор Самарин, очень красноречивое и обстоятельное.

Таков внешний облик свода заявлений. Перейду к изложению их по существу.

Как я уже заметил, делая внешнюю характеристику заявлений, они распадаются по их существу на две группы: одна содержит только известные положения, так сказать тезисы или выводы, а другая дает более или менее подробную их мотивировку, или дает дополнительные общия соображения. Конечно, наиболее значения имеют вторыя заявления.

Но прежде да позволено мне будет сделать небольшое вводное отступление. В моих воспоминаниях о совещаниях по реформе государственного строя России, я уже дважды касался наиболее длинной речи председателя совещания, теперь бессудно убитого хотя и не представителями революционной России, Николая II, речи, сказанной им 9 апреля 1906 года при обсуждении основных законов. Теперь я должен опять припомнить часть этой речи. Он говорил: «Я получал и продолжаю получать ежедневно десятками телеграммы, адресы, приходящие со всех концов и углов земли Русской, от всякого сословия людей; они изъявляют мне трогательные верноподданические чувства вместе с мольбою не ограничивать своей власти и благодарностью за права, дарованные манифестом 17 октября...». Далее, говоря о том, что если бы он оставил без всякого изменения ст. 1 основных законов, он прибавил: «то я уверен, что 80% русского народа будут со мною, окажут мне поддержку и будут мне благодарны за такое решение... *Самое важное манифест 17 октября привести в исполнение*». Если даже и предположить, что Государь допустил некоторую гиперболу, говоря о получении десятков ежедневных заявлений, то во всяком случае несомненно, что число их было значительно. Но что такое в действительности они из себя представляли? Я

позволил себе их сравнить с Потемкинскими декорациями во время путешествий Екатерины II-ой по Новороссии. Так, вероятно, и было и в данном случае. Но ведь кроме того, мы их не знаем, так как публикованы они не были, хотя, может быть, они и ныне существуют и даже сохранились после разгрома и разграбления Зимнего дворца, а в частности личного архива Государя. Но в настоящий момент меня интересуют не эти верноподданические славословия, а те заявления, о своде которых я пишу: были ли они известны Государю [1],—если и не в полном виде, то, по крайней мере, в систематическом извлечении? Это конечно вопрос. А ведь к ним царская характеристика не подходит!

И. Л. Горемыкин, «ничтоже сумляшеся», поддакнул, что 80% так думают. Граф Сольский весьма веско заметил, (я прошу у тени Дмитрия Мартыновича извинения за мое вульгарное уподобление), что нельзя «и невинность соблюсти и капитал приобрести», а именно, что если Государь решил исполнить манифест 17 октября, то нельзя же не изменить статью 1. Но отчего же никто не заявил сомнения относительно истинности и даже подлинности того, что присылают царю, сославшись в доказательство на свод имевшихся уже тогда заявлений. Свод был разослан всем участникам еще Петергофского совещания, это я *свидетельствую* положительно, так как сам получил его тогда же. Нельзя же предполагать, что *никто* не читал этих любопытных страниц? Ведь среди присутствующих были лица, которые по роду их обязанностей не могли не ознакомиться с этим сводом. Я думаю, что несомненно были. Точно также я думаю, что такое заявление было бы не только уместно, но и важно для успокоения сомневающегося Государя. Но этого, однако, никем сделано не было. Конечно, были среди членов совещания и такие, которые сознательно не пожелали помогать ненавистным защитникам государственных новшеств; были и такие, для которых замечания, попавшие в свод, не могли быть приятны по существу заявления, в роде того что писала Оренбургская Дума (138): «Дай счастье, спокойствие и преуспеяние нашему отечеству; создай величие своей державе,—это все будет и в это велика вера всего русского народа... *если ты отстранишь от себя тех людей*, которые удерживают тебя вдали от народа и препятствуют осуществлению всех твоих благих начинаний, намеченных в твоем, Государь, указе от 12 декабря 1904 года»; или в виде телеграммы Херсонской городской Думы: «среди населения господствует всеобщее озлобление против произвола безответственной администрации...

---

[1]) Немогу не заметить, что некоторыя из замечаний свода не попали к царю только потому, что были адресованы в Совет Министров.

Близок час, когда озлобление может перейти во всеобщий мятеж». Но ведь на совещании были и искренние сторонники необходимости, хотя бы частичного изменения основ государственного бытия. Не вспомнили и они о своде. Однако, пораздумавши, не поставлю я им это умолчание в вину: очень уж сильно влияние служилых привычек, одуряющее влияние придворной атмосферы.

Да, что греха таить, теперь мне кажется, что я сделал бы подобное заявление, а, может быть, в действительности, если бы я был в этом совещании, что, по обстоятельствам времени, было вполне возможно, то и у меня оказался бы «прильпе язык к гортани», как не раз это бывало в действительности. Советую всем вспоминателям памятовать образ, нарисованный Писемским,—профессора, рассказывавшего вечером в кровати своей жене, «как он отбрил такого-то на вечере», но скромно умолчавшего, что это было «в мыслях».

Во всяком случае, указания на поступившия заявления сделано не было и никакой роли в совещаниях они не играли, что, конечно, не умаляет их интереса.

Перехожу к обзору по существу этих, как названы они канцеляриею Совета Министров, «заявлений, касающихся созыва выбранных от населения лиц».

3) Заявления общественных учреждений.

Многие из приславших заявления, приступая к прописке лечебных средств для тяжко больного государства, не могли не коснуться, хотя и кратко, того недуга, который охватил государственный организм—и снаружи, в виде тяжелой, неудачной войны, и изнутри, в виде «проказы» в организме страны.

«В дни тяжелых испытаний,—пишет Иркутская городская Дума, (№ 117),—под громом орудий, под тяжким сознанием наших неудач на Дальнем Востоке и неустройства внутри государства, был издан Вашим Величеством указ Правительствующему Сенату, предначертавший способ «радеющим об общей пользе и нуждах государственных— частным лицам дать возможность быть услышанными Государем... Мы все удручены ходом настоящей войны, мы скорбим над несчастиями, посетившими нашу родину. Наши братья и сыновья—продолжает Дума—несут свою жизнь, а многие уже принесли ее в жертву отечеству, и мы безропотно оплакивали бы их кончину на поле брани, если бы эта война не раскрыла все те несовершенства нашего бюрократического порядка, которые и есть причина наших поражений и неудач. Ужас и несчастье этой войны не только в том, что погибли сотни тысяч молодых и здоровых

людей, дорого стоящие сооружения, сотни миллионов рублей, необходимые на внутренния улучшения, но и в том, что война эта вызвана не насущными потребностями государства, не в защиту его оскорбленных интересов, а в целях, ничего не имеющих общего с интересами русского народа, и даже нашей окраины, ближайшей к театру военных действий, и начата при полной неподготовленности как в сухопутной армии, так и во флоте... Не русский солдат виноват в этих неудачах: он сражается, как его предки, он умирает, как герой. Виноваты условия русской жизни—полицейский и административный произвол, невежество и бесправие народных масс, оскудение материальное и духовное народа, его приниженность, хищения почти во всех отраслях управления, бесправие общества. Духовные силы народа, благодаря всепроникающей опеке, не развивались за последние 30 лет, а отсутствие прочного правопорядка в деревнях, отношение к крестьянину, как к несовершеннолетнему, экономический кризис, нищета и голодовки, страшное невежество—убили дух русского крестьянина и создали благоприятную почву для брожения. Политика бюрократического режима, бессильного охватить и направить деятельность обширнейшего в мире государства, вызвала недовольство окраин против России, и мы видим, что Финляндия, Польша, Кавказ находятся в состоянии крайнего возбуждения»... «Такое состояние не может не волновать сознательные классы общества; лучшие люди, мыслящая часть общества смущены отсутствием твердого порядка, непрерывно усиливающимся произволом, отсутствием основанной на законе правомерной власти, ростом чрезвычайных полномочий администрации, в ущерб правам населения, и почти полным уничтожением гарантий для личности... Но недовольство таким бюрократическим режимом не ограничивается одним образованным обществом; оно проникло и в рабочие круги, в крестьянскую массу и даже в более развитые слои армии. Восстания и беспорядки, разлившиеся широкой волною по лицу земли русской, живое доказательство всеобщего недовольства, которое уже давно таилось и скапливалось в недрах народа. Настоящая война дала толчек этому недовольству тем, что раскрыла язвы и пороки нашего строя и управления; они стали очевидны для всех граждан русской земли, пред которыми встал вопрос: что делать?... Смута поддерживается и питается не агитацией отдельных личностей, а тем возростающим недовольством, которое вызывается неудовлетворением насущной государственной и общественной нужды. Стремления отдельных агитаторов бессильны для 100-миллионного народа, если условия жизни нормальны, если нет всеобщего недовольства; с такими попытками легко справиться. Но нельзя потушить волнения даже

ценою пролитой крови и страшной репрессией, если оно является результатом назревшего общественного сознания о неудовлетворенности государственных нужд и несоответствия государственного строя с назревшими потребностями... Становится страшно за будущее России, становится страшно за те ужасы, которые надвигаются на наше отечество. Мы можем и должны их избежать. Теперь уже не крайние убеждения, а патриотизм и интересы национальной обороны требуют, чтобы Россия свернула с ложного пути бюрократически-властного режима и вступила на торную дорогу реформ, которые дадут ей величие и счастие в будущем».

«Потрясенные рядом поражений в несчастной войне с Японией,—говорит Нижегородская городская Дума (116),—и, наконец, беспримерным в истории уничтожением русского флота в Корейском заливе 14—15 мая, граждане Нижнего-Новгорода потеряли всякую надежду на возможность мирной работы при тех порядках, при которых в настоящее время управляется страна. Внутренния смуты, полное незнание условий, при которых ведется война, затяжка в проведении в жизнь реформ во внутреннем строе России—*подорвали доверие* к системе управления страной, в ее центральных и в местных органах. Все слои населения оторваны от своих дел и в ожидании внутренних реформ отказываются поддерживать существующия положения вещей во всех отраслях управления, и готовы отказаться от уплаты государственных и личных повинностей».

«Ряд тяжелых поражений, понесенных русской армией на суше, закончившихся уничтожением почти всего нашего флота при Цусимском сражении, — пишет *Уфимская* губернская управа (147), служат ярким доказательством неотложности внесения изменений в строй нашей государственной системы. У каждого, искренне любящего свою родину, сердце обливается кровью при мысли о том, что его гигантское отечество оказалось несостоятельным в борьбе с маленьким народом. Наряду с тяжкой и несчастной для нас войною, вглуби России происходит глубокое и тревожное волнение. Все слои общества охвачены пожаром недовольства и со всех сторон несутся вести о глубоком брожении. Грандиозное стачечное движение рабочих, упорно не прекращающееся и бурной волной проходящее с одного конца России на другой, аграрные беспорядки, грозящие принять хроническую форму, все это свидетельствует о том, что страна нуждается в неотложных радикальных реформах».

О несчастии в Корейском проливе 14 и 15 мая вспоминает и *Ростовская на Дону* Городская Дума (73): «26 января 1904 г. началась война с Японией, война неожиданная, которой никто не желал,—указывает *Майкопская* Городская

Дума (157), непонятная для массы народа, разорительная и несчастная. Поражения, которые терпит наша армия, уничтожение почти всего нашего флота, страшное, потрясающее количество жертв, видимое наше бессилие справиться с врагом, глубоко взволновали всю страну».

«Ни разум, ни справедливость, ни чувство ответственности перед народною совестью, говорят гласные *Московской Городской Думы,* не мирятся с мыслью о том, что злополучная, кровопролитнейшая в истории, возникшая по непонятным измученной стране причинам война продолжалась, не имея за собою воли русского народа... Пришел час, когда самому народу предстоит разрешить о войне или мире, достойном России, и приступить к государственному строительству. Это мнение, приведено в докладе Новоторжской уездной управы (№ 115, стр. 3) и принято ею, а затем и собранием, которое под впечатлением соображений уездного земства, приняло *единогласно,* формулу, предложенную гласным де-Роберти, которая гласит: «Без прямой измены отечеству, нельзя не только на неопределенное время, но и на самый короткий срок оставить безответственное и безотчетное правление Россиею в руках лиц, своей неспособностью, самоуверенным незнанием и преступным легкомыслием приведших государство, на войне и внутри его, к длинному ряду неслыханных по своим размерам и позорных по своему существу катастроф,—в руках людей в нетерпимой уже мере, безцельно и частью своекорыстно растративших достояние народа и надолго запятнавших его честь».

«Недовольство растет с каждым днем, кадры представителей крайних взглядов пополняются каждый день сотнями и тысячами новых членов,—пишет Екатеринославская губернская управа (№ 154), и их разрушительная политико-социальная пропоганда находит крайне благоприятную почву во враждебно настроенной к правительству и состоятельным классам крестьянской и рабочей среде... Есть полное основание опасаться, что переживаемая смута в самом непродолжительном времени может принять характер революционных вспышек, повторение которых будет вызывать тысячи новых жертв и будет не умерять, а обострять недовольство и смуту. Правительство уже не в силах побороть самоn ростущую смуту; оно настоятельно нуждается в поддержке умеренных элементов страны, которые должны быть неотлагаемо призваны к активной созидательной работе».

«В дни тяжких испытаний,—заявляет Херсонская городская дума (№ 101),—под свежим впечатлением удручающих событий в соседней Одессе и аграрных беспорядков во всей губернии, Херсонская городская Дума не смеет скрыть от Вас глубины той опасности, которая угрожает дорогой родине. По

долгу совести Дума заявляет, что среди населения господствует всеобщее озлобление против произвола безответственной администрации и начинает распространяться глубже; близок час, когда озлобление против произвола безответственной администрации может перейти во всеобщий мятеж и у государства не будет уже сил заглушить этот пожар»[1].

Производит большое впечатление безъискусственное заявление выборных от сельских обществ всей Черниговской губернии (143). «Мы уверены, что *эти* (очевидно, что напечатано в своде только часть заявления) *наши первейшие нужды* и множество других всегда были известны начальству, которого у нас очень много, но которое хотя и говорит, что живет для народного блага, на самом же деле народное благо для чиновников только предлог, чтобы беззаботно жить на счет народа, пожирая огромную часть народного труда, вносимого в казну в виде налогов; поэтому мы не верим, чтобы чиновники улучшили нашу жизнь, так как они всегда прежде всего позаботятся о своей личной жизни и об учреждении новых чиновничьих мест для своего потомства и еще более будут отягощать нашу жизнь, а не улучшать, и единственным для себя спасением мы признаем, чтобы для выработки законов, для составления сметы государственных доходов и расходов, раскладки налогов и проверки правильности расходования денег—были избраны народные представители всеми русскими подданными равно, посредством прямого и тайного голосования и все, что они сделают, чтобы представлено прямо царю на утверждение, помимо министров и влиятельных советов; а все служащие, начиная от самых высших—министров, и кончая мелкими, должны давать отчет народным выборным, потому что у батюшки-царя не хватит сил усмотреть, чтобы все выполняли свою службу по закону».

---

[1] Я не вношу в текст, как *анонимное*, заявление 83 лиц, проживающих в гор. Вятке (№ 72), но упомяну о нем в примечании. „Вовлечение России в войну, чуждую народным интересам, постоянные поражения, гибель флота, безчисленныя жертвы человеческия и денежные обнаружили несостоятельность внешней политики правительства, и организованной им защиты государства. Та же несостоятельность обнаружена во внутренних делах. Деятельность правительства не соответствует культурным задачам государства, интересам трудовых масс и воле народа, выраженной сознательной его частью. Обещанные реформы не проводятся. Действия правительства свидетельствуют о неумении и нежелании осуществить их; разрешение насущных вопросов политической и экономической жизни народа поручается деятелям враждебным реформам; государственныя реформы решаются необдуманно, вне обычного законного порядка. Неисполнение обещаний правительства вызвало внутреннюю войну, которую, с другой стороны, разжигают органы и сторонники правительства. Дальнейшее продолжение такой политики ведет к усугублению внешнего позора, к усилению гражданского возмущения, грозит внутреннему спокойствию, целости государства“.

Но эти выдержки из мнений и заявлений из самых разнообразных частей государства все еще не исчерпывают полной гаммы обличений и воплей о неурядицах и бедствиях родной страны.

В проекте всеподданнейшего адреса Бессарабского дворянства (№ 122) мы читаем: Ваше Величество! Теперь ни для кого не тайна, что будучи бессильной против внешнего врага, бюрократия создала внутреннего и объявила врагами отечества тех граждан, которым дороги и честь, и интересы родины. Результаты этой деятельности бюрократии еще более ужасны, чем поражение на войне. Момент катастрофы близок и мы умоляем Ваше Величество внять и поверить тому голосу Ваших верноподанных, который может дойти до Вас непосредственно... Государь, пока не поздно, внемлите голосу народа.

Позволю себе, наконец, привести вопль Полтавского губернского земского собрания (№ 90) и Городской Думы (№ 114), повторивших мысли и даже выражения совещания представителей земств и городов, собравшихся 24—25 мая 1905 года в Москве. Я позволю себе сделать выписку полностью:

В минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола Вашего, мы решаемся обратиться к Вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющия, движимые одною общею любовью к отечеству.

Государь, преступным неброжением и злоупотреблением Ваших советников, Россия ввергнута в гибельную войну, наша армия не смогла одолеть врага, наш флот уничтожен и, грознее опасности внешней, разгорается внутренняя усобица.

Увидав, вместе со всем народом Вашим, все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения.

Угнетение личности и общества, угнетение слова и всяческий произвол множатся и ростут. Вместо предуказанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола, полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия, а подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас.

Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слова Ваши остались без исполнения до ныне, несмотря на все грозное величие совершающихся событий, а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами представительство, долженствовавшее упразднить приказный строй, заменяется сословным совещанием.

Государь, пока не поздно для спасения России и утверждения порядка и мира внутреннего, *повелите без замедления созвать народных представителей*, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими. *Пусть они решат*, вместе с Вами, жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире, пусть они определят те условия мира, или отвергнут его, превратив эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию, не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного; пусть установят они, в согласии с Вами, обновленный государственный строй.

Государь, в руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир. В руках Ваших держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков.

Не медлите, Государь, в страшный час испытания народного велика ответственность Ваша перед Богом и Россиею.

К тем же соображениям присоединилась и Одесская городская Дума (71).

Так говорила земля, так говорили представители весьма различных сословных и общественных единений. Как мало в этих воплях о бедной России мольбы не ограничивать самодержавную власть, о которой говорил Государь в приведенной выше речи! Говоря об его словах, я *убежденно* заявлял, в воспоминаниях, что эти благодарственные фимиамы, получаемые им, были по крайней мере в 75% инсценированы теми, кому это требовалось, вроде того, как в «Периколе» переодетые под народ альгвазилы кричат прогуливающемуся яко-бы инкогнито губернатору: «да здравствует губернатор!» Но, может быть, скажут, что и при издании разбираемых мною замечаний была та же возможность, была «постановочка»! Пусть будет так! Но кого же заподозрить в ней? Канцелярию Комитета Министров, которая предусмотрительно, еще в 1905 г., печатая эти замечания, утаила те из них, которые были самодержавной или даже монархической окраски? Едва ли такое предположение придет в голову какому нибудь, даже архидубровинцу! Да, прибавлю, что, ведь и я *отнюдь не предполагаю*, что литература группы обращений к Государю непосредственно фабриковалась окружающими царя приближенными, а тем паче министрами. Боже упаси! Может быть, какое нибудь влияние некоторых персонажей из участников «священной дружины» и было, но и то разве только очень немногих из них с «подмоченной» нравственной репутацией. Я полагаю, что это было дело более мелких сошек того союза русского народа «в ковычках»,

о которых герой одного из романов, кажется, Тургенева, говорит: «я их репутацию своей кобыле не пожелаю». Но у читателя настоящей статьи может возникнуть более простая мысль. Может быть, в подборе виноват автор, т. е. *я*. На это могу ответить только так: кому недостаточно личного доверия, тот может, как «Фома неверующий» вложить перст—прочесть в подлиннике «замечания». Это возможно; их только 216. И, наконец, прибавлю, чтобы быть вполне беспристрастным, я приведу *все* инако комбинированные замечания, мною усмотренныя. Их так немного, да и в них все таки, той мольбы: «любим мы тебя сердечно, будь нашим *начальником* вечно», не содержится. К этой группе относится прежде всего напечатанное *под № 1* (канцелярия поставила его, так сказать, «под образа» как же ее заподозривать в подборе!) заявление двух приват-доцентов Петербургского университета; они, между прочим, пишут, что многие предлагают учредить у нас конституционный режим, но они находят, что он не заключает еще достаточного обеспечения законности и свободы. «Мы убеждены глубочайшим образом, что Самодержавие есть основное начало русской государственной жизни, самобытно выработанное духом и историей русского народа. Мы уверены, что и теперь, как три века назад только это крепко живет в сердцах русских людей, и что масса народа по прежнему считает своего самодержавного Государя единственным источником правды и справедливости». Поэтому они и предлагают реформы по схеме намеченной Булыгиным Думы, о которой уже было сообщено тогда в газетах, т. е. как законосовещательного органа; предлагают Государственный Совет только из назначенных лиц, с включением в него почему-то представителей (тоже, вероятно, назначенных) духовенства. Самое представительство они предполагают на основании ценза, пропорционального платимому ими налогу.

Дворянин В. Н. Трубников (№ 5) говорит: если допустить конституционное правление, тогда «по халатности русских, власть перейдет к евреям, немцам, полякам, финляндцам и даже татарам, а русские будут гурты стриженных овец, следующих за своими вожаками». Крестьяне села Самухи и Галахова (№ 197) Аткарского уезда Саратовской губ. жалуются на засилье инородцев, причем главными врагами они считают евреев и поляков(!). Как замечают они, «пришельцы евреи и поляки, сидящие, и те и другие, как паразиты на ими же самими разъеденной русской шее, уже начинают перебираться и на здоровое тело». Но в этом же самом «замечании» содержится указание, что оно писано не крестьянами, а каким-то доверенным лицом, что, впрочем, ясно видно и из самого изложения замечания: «современная печать, интеллигенция, дворянство, полячество, а рядом с ними *выросшее на народные деньги зем-*

ство сделали свое дело. Благодаря им, Россия действительно представляет собой горящее снаружи и внутри здание, которого никто не тушит. Для локализации этого пожара нужны все жильцы», и т. д. Невольно приходит на мысль: а не уволенный ли от службы в Аткарском земстве за пьянство или иное качество представитель местного третьего элемента был этот выборный? [1]). Этим и исчерпываются представители славословящих.

Прибавлю еще, что можно, конечно, отнести к примыкающим, к этой же категории, те замечания, которые отделяют царя от его правительства, и выражают надежду, что если *сам царь* услышит их замечание, то успокоение России пойдет верною дорогой, но и таких указаний не много.

Перейду теперь к обзору самой народной рецептуры целительных средств, хотя, как я уже говорил, большинство ограничивается только прописыванием рецептов и лишь очень немногие пытаются дать указания самого лечебного режима.

Мне казалось бы в интересах более отчетливого и относительно полного ознакомления с взглядами заявителей, сначала сделать обзор рецуптурных указаний, систематизировать их по важнейшим пунктам заявлений, а затем привести более подробно или даже в извлечении мотивированные мнения, не особенно, впрочем, большого числа учреждений и лиц.

4) *Заявления различных организаций.*

Приступая к изложению содержания этой группы „Замечаний“, я должен опять повторить: об‘единить множество мнений, собранных случайно, и при этом рассчитывать на какие либо серьезные результаты, тем паче на научные выводы, едва ли возможно. Едва ли это будет плодотворная *научная* работа. В самом деле! нельзя ли, напр. подойти с научными логическими приемами и попытаться применить метод анализа больших чисел? Но мы не имеем основного базиса для приложения такого метода, именно больших чисел. Что такое 200 заявлений от более чем 150-миллионного народа? Как не

[1]) Рядом с только что приведенным в своде напечатано еще весьма консервативное заявление под № 196, но я не вношу его в текст, как анонимное. От жителей „города Кишинева“, но Кишинев город губернский, в котором в 1905 г. было около ста тысячь жителей: все ли они так думают? Правда, в тексте заявления сказано—нижеподписавшиеся, по канцелярия незаблагорассудила ни поименовать их, ни даже определить количество. Во всяком случае, они *не* кишиневские евреи, так как в своде имеется столь же анонимное заявление от кишиневских евреев. Анонимы № 198 пишут, или как они говорят: „дерзают представить“, что „всякое представительное собрание, хотя бы оно имело только совещательное значение,

сокращайте число тех, которые указом 18 февраля приглашались пре'явить свои предположения, вы всетаки сведете их к десяткам миллионов, и как не увеличивайте числа лиц, приславших заявления, полагая, напр., что каждое коллективное заявление падает на 50 или даже 100 человек, Вы получите заявителей 10.000, 20.000. Да прикиньте, сколько между ними было умственно не участвующих в постановлениях. Какие же тут возможны сколько-нибудь основательные предположения? Если к этому прибавить, что данныя эти собирались без всякой программы, дающей, по крайней мере, однородность ответов, которая давала бы возможность воспользоваться применением начал теории вероятностей, то неприменимость научного метода станет еще очевиднее. Но ведь и этого мало; мы знаем, что в общественной атмосфере 1905 года была распространена шаблонная программа ответов на подобного рода вопросы, хотя и не напоминающая „замоскворецкие жупелы" Островского или тарабарские словечки наших народных наговоров и заклинаний, или даже замысловатые заморские слова „без аннексий и контрибуций", но все же она была из категории опасных, прилипчивых, порождающих подражание шаблонов; проявление принципа: „как люди, так и мы".

Не знаю, правильно ли я мыслю, но мне кажется, что прием методов моральной статистики к настоящему обозрению „заявлений не применим. Но также думается мне, не подхо-

---

является опасным для нашего государственного строя. Какова бы ни была система выборов, нет сомненья что в это собрание попадет не мало лиц, которыя теперь кричат о необходимости коренной реформы. Эти лица не ограничатся совещательной ролью: будут составляться резолюции, если не в стенах собрания, то в частных совещаниях, будут делаться запросы пр[а]тельству, будут говориться речи, где будут преувеличиваться и подчеркиваться ошибки правящих лиц, и эти ошибки, иногда и вымышленныя, будут выставляться, как доказательство негодности бюрократического строя и необходимости замены его другим строем, выборным. Все эти резолюции, запросы, речи будут подхватываться печатью, повторяться на все лады. Представительное собрание или его левыя группы об'единят наиболее оппозиционные элементы страны, голос этой левой группы будет выставляться голосом народа, а наиболее трезвые благоразумные голоса должны будут примолкнуть пред тою оргией, которая поднимется тогда среди нашей интеллигенции. Царь, если он не согласится с этой левой группою, будет выставляться врагом народа". Эти жители полагают не полезным созвание представителей и для решения одного только вопроса о войне и мире, так как это потребует недопустимой гласности и, по своей медленности, пагубно отразится на состоянии наших войск. Они считают желательным опрос избранных людей на месте (может быть, поэтому фамилии их и скрыты?), которые дадут ответы более разумные и спокойные, чем на „всероссийском с'езде болтунов".

дящее дело прикинуть к обработке этих данных психологический прием анализа действий массы, принципы обработки психологии толпы, ибо мы имеем для анализа не движущийся, сталкивающийся, взаимно влияющий и видоизменяющийся материал одного из любопытнейших проявлений общественной жизни, даже не ряд снятых по научным приемам кинематографических фильм движущейся массы, с присоединением к ним и указаний цветной фотографии, а имеем изображения несколько уподобляющияся суздальской живописи, требующей изображать угодников по готовым застывшим трафаретам иконописного требника.

В результате, какого либо анализа дум и желаний общественных масс я дать не могу. Художественною жилкой восполнять костяк живою плотью не обладаю, а потому ограничусь только описательным приемом: от руки дать нечто напоминающее действительность. Все таки так или, пожалуй, приблизительно так—говорили на некотором числе широко раскинутых на безбрежной тогда Руси сходах, собраниях, заседаниях, и разошлись собиравшиеся по деревням, домам и семьям, унося с собою теплую мысль, что послужили они великому „Государеву делу". Все же это были голоса от земли". Только не пришлось бы мне, как гоголевскому маляру, подписать под изображением: „се лев а не собака".

Более или менее единодушно откликнулось большинство на общий вопрос о желательности или, вернее, необходимости совещания царя и народа, единения их; так сказать, доведения стенаний страны до престола без ненавистного чиновничьего средостения, и притом единения неотложного, немедленного", в виду пылающей опасности. Эта мысль выражается в огромном % заявлений и даже иногда не в просительной, а в страстной, как бы властной форме: „Государь, ускорьте Ваше веление о созыве представителей народа, *всякий миг промедления* может повлечь роковые последствия" (95). „Мы заявляем, пишет Владивостокская городская дума (165), о безмерных ужасах последнего времени, показывающих, что разлад между правительством и обществом все глубже и глубже проникает в народные массы. Положить предел нашим внутренним неурядицам, водворить в стране порядок и даровать ей обновление может только немедленный созыв народных представителей для совместной с Вами, Государь, работы".

Но по вопросу о том: в какой форме могло бы выразиться это единение, являются различные оттенки.

Граф Витте в царскосельских совещаниях, неоднократно выражал опасения, что Государственная Дума, при ослаблении вожжей власти, легко может понестись, как гоголевская тройка, в неведомую даль, в туманный облик „учредительного со-

брания",—но, ведь, он должен был знать, что это жупельное слово еще до петергофского совещания уже прозвучало в голосах из народа! О желании и необходимости таковаго говорится в №№ 6, 23, 29, 33, 34, 35, 44, 50, 53, 54, 59, 80, 118 и т. д., и т. д. заявлений. О нем говорятъ не только городские думы и земские собрания или „третий элемент", но еще чаще крестьянские сходы и единения. В заявлениях от крестьян говорится просто, что необходимо такое собрание, но думы и земства приводят к этому и мотивы.

„Только немедленный созыв *учредительного собрания* из народных представителей может привести страну к успокоению и дать ей возможность к возрождению. Это собрание должно иметь решающий, а не совещательный голос, и ему должно быть предоставлено выработать основной государственный закон и *решение вопроса о мире и войне*... говорит Вологодская городская дума и губернское земское собрание (№ 23); Ставропольская городская дума, № 80, заявляет: Задача учредительного собрания должна состоять *в выработке основных законов государственного устройства* и законоположений о порядке выборов и действий постоянного законодательного собрания, составленного также из народных представителей"... „Первым шагом на пути улучшения государственного благоустройства,—говорит Владимирская Городская Дума (№ 183) и поднятия народного благосостояния должен явиться немедленный созыв учредительного собрания—повторяет она, задача которого должна состоять в выработке основных законов государственного устройства и законоположений о порядке выборов и действий постоянного законодательного собрания составленного также из народных представителей",—т. е. она относит к задаче собрания как раз те вопросы, которые служили предметом рассмотрения изложенных мною совещаний под председательством Государя.

Также обрисовывает задачу учредительного собрания и Каменец-Подольская городская дума (№ 98). В некоторых заявлениях такое учредительное собрание именуется народным собранием, народным советом. В еще большем числе заявлений говорится просто о созывѣ народных представителей. Для выслушивания их мнений о нуждах и *строении государства* необходим—прибавляет Оренбургская дума;—*немедленный созыв* учредительного собрания „для выработки основных законов государственного устройства и законоположений о порядке выборов и действий будущего постоянного законодательного собрания, состоящего из народных представителей" (№ 138, п.п. 3 и 4). Те из них, которые затрогиваютъ исторические примеры подобных собраний, конечно, ссылаются на „земские соборы" из представителей от городов, посадских

людей, духовенства и других сословий, собиравшихся в московской Руси, когда—подобно нынешнему времени—государству угрожала опасность извне, нарушалось спокойствіе внутри, как в смутные времена, в особенности напр. во время собора 1612—1613 г.г., выведшего Россию из того страшного положения, в которое ее поставило междуцарствие, который спас государство от гибели и восстановил в нем спокойствие путем производительной неустанной работы самого населения (№ 137). В заявлениях отдельных лиц придумываются и новые формы собраний, по крайней мере, их наименования, вроде „совета народной совести" (№ 68). Все предположения о народном собрании относятся к собранию представителей *всей Руси*. Идея о самоопределении народностей, как принципа дробления Руси, в заявлениях даже инородцев не проявлялась, да она еще не была ходячею политическою мыслью тех годов! Пред всеми, или по крайней мере, пред значительным числом сознательных народных единений, посылавших предположения в Совет Министров, родина рисовалась, как больная, страждущая, но единая, великая. В них не слышно было и намека на то, что она зачумленная, что она пригодна для ее сынов только по столько, по сколько можно общипать ее пух и перья. В самом деле, прислано много заявлений литовцев [1], латышей, эстов; в их заявлениях, как, напр., № 9 от крестьян Венденского уезда Лифляндской губернии, № 14, № 3, и др. слышится вековая ненависть к угнетателям их немцам, но нет еще требований об отдельности!

«Представительство края, говорится в № 9, всецело находится в руках немцев, дворянского «ландтага», члены которого избираются крайне ограниченным числом немецких дворян и опять таки из одних и тех же дворянских семей. Громадное большинство жителей губерний, именно сельские обыватели, принадлежащие к латышской и эстонской народностям, несут одни только обязанности, не имея никакого участия в распределении, на ландтагах, сих обязанностей. Кроме того, известно, что: 1) отношения между правящем в крае немецким дворянством с одной стороны и коренным населением края (латышами и эстами) с другой стороны, именно из за этой неравноправности установились самые неприязненные, каковое обстоя-

[1]) Впрочем, в заявлении малоземельных и безземельных крестьян Ковенской губ. (№ 77) говорится чтобы при коренных реформах не был обойден ни один класс, ни *один город*, чтобы в Вильне точно также был собран сейм представителей Литвы, который, обсудив нужды страны, поручил бы представителям Литвы, избранным в Петербург, передать учредительному собранию все постановления Виленского сейма". Тоже в № 19—для Литвы в этнографических ее границах, *кроме общего*, нужно особое областное собрание. Но это далеко не сепаратизм.

тельство вполне подтвердилось во время последних событий в крае; 2) интересы немецких дворян, старающихся удержать за собою древние устарелые права, монополию по управлению краем, совершенно противоположны интересам коренных сельских обывателей, латышей и эстов, ставших, после освобождения их из крепостного состояния соперниками дворян-немцев в экономической и общественной жизни». Ходатайствовали они о том, чтобы не забыли пригласить их выборных (№ 72) заявить о неправдах жизни. Особенно страстны заявления евреев, до которых дошли слухи, что их предполагают даже лишить представительства в булыгинской думе (№ 70, евреи города Риги, № 71 гор. Бобруйска). Евреи гор. Кишенева (№ 112) пишут: «евреи к ужасу своему узнали, что их одних, больше всех страдающих от бесправия, предположили исключить из общего числа граждан, коих положение должно быть улучшено... Возможность внесения в Совет Министров такого проекта в переживаемую нами историческую эпоху является такою жестокостью по отношению к шестимиллионному еврейскому населению России, что она способна вывести из душевного равновесия наиболее мирные и спокойные элементы нашего народа... В наступательном территориальном росте России, как государственного организма, провидению угодно было отдать под единую Российскую державу больше половины еврейского народа и этим связать его судьбы с судьбами России. Поэтому в России менее, чем где либо евреи могут быть рассматриваемы как временные обитатели страны или как пришельцы. ...Пусть же будет оказана справедливость всему еврейскому народу в том государстве, которому—Богу угодно было вверить судьбы большинства этого народа.

Мы знаем, что в митинговых речах отдельных местностей не раз поднимались голоса о выделении, о федерации, но они не проникли в те заявления, которые дошли до Совета Министров. Правда, нет заявлений от Финляндии и Польши или крупных Кавказских народностей, но ведь не встречается и пожелания «самостийности» в заявлениях черниговцев, харьковцев, полтавцев; не говорят о ней ни литовцы, ни латыши, ни крымцы, ни—тем более—сибиряки.

Относительно степени власти, которая должна принадлежать будущему собранию, значительное большинство заявителей полагает, что оно должно сказать не только веское, но и *решительное* слово, прибавлю, что в этом отношении, даже по вопросу о немедленности созыва не слышно прежнего рабского языка «государевых людишек», слышится властное выражение: *требуем* немедленного созыва. А так как ко времени посылки этих заявлений в наши газеты уже проникают пред-

положения, на которых должна быть построена булыгинская совещательная Дума, то о ней в заявлениях говорится безусловно отрицательно, как о комиссии, которой решительно никто не доверяет (№ 35). В этом отношении характерно заявление присланное от крестьян Новозыбковского уезда Черниговской губернии (№ 211): «Мы считаем долгом довести до сведения Твоего Великий государь, что мы вполне присоединяемся к словам и смыслу, сказанным лично Тебе 6 июня Трубецким и членом Петербургской думы Федоровым и совершенно открещиваемся от желаний, высказанных депутацией в составе графов Бобринского и Шереметьева, гласного Нарышкина и других (несчастных) прибавлено в заявлении июня 21 крестьян. Эта депутация от разных сословий говорила коварным языком и двигалась своекорыстным чувством». «Все мы, люди земли, чувствуем свою полную солидарность с теми земскими людьми, которые представлялись Вам 6 июня, и через князя Трубецкого высказали взгляд на тот путь, который один только может вывести Россию из тяжелого положения»,—говорится в № 100. «Под словами князя Трубецкого и мы подпишемся и под ними подпишутся все честные русские люди, искренно любящие свое отечество. Этот путь указан и Вами, Государь, в рескрипте 18 февраля... Но к глубокому несчастью России, Ваше правительство, Государь, не желает этого выхода, и вопреки Вашей воли и воли всего русского общества продолжает вести Россию по тому пути, который уже привел нас к настоящему бедствию и дальше продолженный грозит кровавыми ужасами революции... Повелите немедленно освободить русский народ от бесправия, унижения и всякого произвола, сделайте нас свободными гражданами, чтобы мы могли достойно делить с Вами труды по управлению страною».

«Самым элементарным требованием какого бы то ни было народного представительства не удовлетворяет проект, составленный канцелярским порядком, под руководством гофмейстера Булыгина,—говорят представители городского самоуправления, собравшиеся в Москве (№ 168). То же повторяет Смоленская дума (№ 187).

Конечно, собранию представителей с решающим голосом должен соответствовать и широкий объем принадлежащих этому собранию полномочий, хотя, конечно, и в этом отношении указания заявлений, как и по приведенным уже мною ранее соображениям о государственной разрухе, весьма различны. Те из них, которые касались наших бед на войне, поражений и неудач, невольно выдвигали на первое место право собрания обсудить вопросы о продолжении войны и заключения мира, и его условий. К этому неизбежно приходили те заявления, которые начинали или пополняли свои «заявления»

примерами нашей истории, нашими стародавними земскими соборами, так как именно для обсуждения подобных вопросов и собирались соборы XVI и XVII веков; поэтому признавали необходимым они предоставление народному собранию решения вопросов о войне и мире. Неоднократно указывается в заявлениях, что созыв представителей в первое народное собрание должен иметь специальную задачу—изыскивать способы к выходу из современного опасного положения родины, порождаемого неустройством внутренней жизни и несчастною войною (№ 67).

«Вот уже второй год как проливается кровь наших братьев и сыновей на полях чуждой нам Манчжурии, и тратится бесчисленное количество денег,—говорят крестьяне Черниговской губернии Новозыбковского уезда (№ 189). С самого начала настоящей войны мы ее не желали и в завоевании Манчжурии и в преобладании на Великом Океане счастья для нашей родины не видели... Великий Государь! Быть может, окружающие тебя люди уверяют, что народ и после понесенных страшных катастроф желает продолжать войну. Нет, и сто крат нет! Наше искреннее желание немедленное прекращение ее для блага нашей родины». А что бы сказали эти крестьяне теперь, когда после трех лет непомерно более тяжкой войны, начался четвертый год не только полного и в военном отношении принижения родины, но и самоистребления и саморазрушения, далеко уже превзошедшия великую разруху 1612 года.

Относительно внутреннего строительства России объем прав, которыми должны были обладать призванные представители, определялся более или менее одинаково. Я приведу выдержки из мыслей отдельных слоев общества. «Народному представительству должны быть присвоены—говорит Казанское Юридическое Общество (№ 11): 1) участие в законодательной власти с правом законодательной инициативы; право контроля над действиями органов исполнительной власти; 3) право утверждения государственного бюджета; 4) право объявления войны и заключения мира». «Народному представительству должно принадлежать право законодательной власти с решающим голосом при рассмотрении всех законодательных проектов, контроль над администрацией опирающийся на ответственность министров перед народными представителями и утверждение государственного бюджета с контролем над его исполнением» (№ 77), Рыбинская городская Дума. То же повторяет Ставропольская дума (№ 80), прибавляя еще установление налогов. То же говорит Каменец-Подольская дума (№ 98). Конечно, такого определенного перечня компетенции народных представителей не встречается в заявлениях крестьян. Но зато у них просвечивает необходи-

мость уполномочить народных представителей обсудить и наделить землею безземельных. Здесь о священных правах собственности нет и намека. Еще менее слышится мысль, которую когда-то развивал император Николай I в своих обращениях к дворянам, что земля принадлежит дворянам, во главе которых он ставил себя с императрицей, как первых дворян. Теперь заявления были новые. Вот что говорят крестьяне Захарьевского общества Херсонской губернии (№ 210) в своем мирском приговоре: «уравнять в правах всех истинно русских жителей нашего отечества, *наделить землею всех желающих ее обрабатывать из земель, принадлежащих монастырям, государству и крупным землевладельцам*». Это последнее соображение, варьируясь, повторяется, конечно, многократно. Дмитриевское сельское общество крестьян Воронежской губернии и уезда ставит, напр., в основу своих пожеланий: «наделить всех в потребном количестве землею посредством отчуждения казенных, церковных и частно-владельческих земель и облегчить арендную плату, установив ее в законодательном порядке» (№ 172) [1]). Конечно, не могу не прибавить, что многие заявления крестьян не содержат указаний на наделение их землею, но при указанной уже мною системе цензирования заявлений трудно сказать, чем объясняются эти недомолвки: отсутствием желания или цензорским карандашем; вероятнее последнее [2]).

Рядом с заявлениями о выслушании голоса отдельных этнографических единиц стоит требование объединения или, вернее, уравнения всех классов, общественных или, переводя на юридический язык—уничтожение всяких сословных ограничений в области государственных прав, и даже уничтожение всех сословий: «следовало бы, говорит крестьянин Моршанского уезда Тамбовской губернии, села Пичнева (№ 2), названия сословий уничтожить и назвать все население гражданами Российской Империи и было бы общее братство. Хотя в представительстве и получились бы партии либералов, консерваторов и умеренных, но не было бы войны из за сословных при-

---

[1]) Коснулось этого вопроса и одно земство: три четверти российского населения, говорит Сызранское уездное земское собрание (№ 182 п. 6) занимается земледелием, потому земледельческий класс должен пользоваться особым вниманием и промышленность не должна пользоваться покровительством в ущерб земледельческому населению.., аграрные безпорядки не случайные явления и не плод крамолы, и мерами полиции, казаками их предотвратить нельзя... нужно уничтожить корень зла, для чего необходимо новое наделение без земельных и мало земельных крестьян землею по правилам, которыя будут установлены в законодательном порядке народными представителями.

[2]) К этой же группе нужно отнести предложения принять всеобщие но двустепенные выборы: № 15, Малмажского земского собрания, № 82 Сызранского земского собрания.

вилегий, потому неуравнение прав поведет к междуусобице и разным неудобствам; это обязательно нужно предвидеть, ибо последствия междуусобицы будут гибельны для России, а это может настать скоро, ибо, повторяю, жизнь на всех парах идет вперед и никакими искусственными мерами ее не остановить».

«Государь—говорят крестьяне дер. Медведчиково Тверской губернии (№ 206)—просим мы тебя еще, чтобы никто нас не мог наказывать и подвергать заключению без суда, по своему усмотрению. Дай ты *нам те же права, как и другим сословиям*». «Сословия совершенно упраздняются и все граждане России уравниваются в правах: все привилегии, равно как и все ограничения в правах, связанные с принадлежностью к тому или иному сословию, происхождению, национальности и вероисповеданию, упраздняются».—указывается в пожеланиях Ставропольской городской думы (№ 80).

«Сословность и вероисповедность должны быть устранены—говорят крестьяне села Бровник Новозыбковского уезда Черниговской губернии (№ 189),—все граждане должны пользоваться одинаковыми правами, ибо в этом заключается залог процветания и благосостояния страны, всякая же рознь ведет к распадению».

В связи с аграрными пожеланиями и с предположениями о бессословности, стоят указания на необходимость изменения налоговой системы: «ближайшее внимание Государственной Думы в вопросах экономических должно быть обращено на постепенную замену всех косвенных налогов, кроме налога на вино и табак и таможенных, прямым подоходным—прогрессивным налогом (№ 11, Великолуцкого мещанского общества).

В области народного просвещения указывает то же заявление, № 11, Государственная Дума внесет, как меру, не терпящую отлагательства: всеобщее, бесплатное и обязательное начальное обучение, а среднее и высшее—общедоступное и также бесплатное.

В значительном числе заявлений говорится о необходимости амнистии пострадавшим за политические и религиозные убеждения (№ 42); конечно, требования амнистии делаются по преимуществу в заявлениях представителей интеллигенции; но есть указания на необходимость таковой и со стороны крестьян. Мы знаем,—говорят крестьяне (№ 141) что многие сыны нашей родины, защищая интересы крестьянства и рабочего люда, за свои мысли были лишены свободы. Всеподданнейше просим тебя, Государь, освободить их, чтобы они могли теперь, при новой жизни, возвещенной твоими указами, быть полезными и тебе, и нашему отечеству». За амнистию высказывается заявление № 84 и другие.

Разумеется во многих «заявлениях» содержатся указа-

ния на необходимость для производства правильных выборов в народное собрание создание нормальных условий в жизни страны, охрану прав личности; «для проведения в жизнь представительных учреждений,—говорит соединенное собрание костромских дворян, членов губернского и уездного земства и членов думы города Костромы (№ 81), необходимо немедленное проведение начал неприкосновенности личности и частного жилища, свободы слова, печати, собраний, союзов, совести, уничтожение положения об усиленной охране и амнистия пострадавшим за политические и религиозные убеждения».

Совершенно другую категорию вопросов, затрогиваемых «заявлениями» о переустройстве государственной жизни России, составляют предположения об основаниях, на которых должны быть призваны представители страны принять участие в ее представительстве, т. е. о системе выборов.

И в этом отношении оказалось, что предположения страны весьма отличаются от того, что думала первоначально верховенствующая бюрократия, по крайней мере, ко времени составления первоначального булыгинского предположения об основаниях избирательного права. В этом отношении в заявлениях можно усмотреть две весьма не равномерные по численности группы. К одной я бы отнес представителей тех категорий населения, которые уже принимали некоторое участие в политической жизни страны, а ко второй—тех, которые до тех пор в ней никакого участия почти не имели. К первой относятся мнения земств, отчасти дворянских единений и дум некоторых городов, в особенности более крупных. Ко второй представительство большинства городов, некоторых наиболее крайних земств и почти большинство представителей крестьянства и разного рода общественных единений, так сказать, политического «третьего элемента».

При этом, по отношению к первой группе я бы отметил различие еще одного оттенка: допускавшего различие в порядке организации первого, так сказать, учредительного собрания и последующих как бы ординарных представительных собраний.

Предположения отдельных частных лиц, и приславших заявления по этому предмету, по моему мнению, особого значения иметь не могут, если они только не занимали какого-нибудь особого властного государственного положения.

За *сословный* принцип представительства среди заявлений раздавались только, отдельные единичные голоса [1]). Более

---

[1]) „Надо устроить выборы так—говорят крестьяне нескольких сельских сходов Столопоповской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губ. (№ 128) – что-бы крестьяне приняли в них широкое участие и их выборные

единений высказывалось за систему представительства цензового, более или менее приближающуюся к выборному началу, положенному в основу первоначального земского положения 1864 г., за которое, как я указывал в моих воспоминаниях, стояла более прогрессивная часть участников совещаний под председательством Государя.

Но все таки сторонники этой системы составляли несомненное меньшинство приславших заявления.

Красною нитью, просвечивающеюся в *огромном* большинстве заявлений, особенно отнесено их много ко второй группе, была мысль всеобщего избирательного права, т. е. большинство заявителей были сторонники всеобщего, равного, прямого и тайного избрания, так—называемой четырехвостки, за которую высказывались, как я уже отмечал, на царскосельском совещании—эксперты—земцы, в частности А. И. Гучков и Д. Н. Шипов, и к которой, хотя и неохотно, примыкал гр. Сергей Юльевич Витте, поддерживая проект № 2.

О преобладании среди заявлений сторонников этого направления свидетельствуют довольно наглядные цифровые данные, хотя, не могу не заметить, что точный подсчет их является весьма затруднительным, и вот почему: в числе, напр., первых 65 заявлений (первый выпуск) высказались определенно за всеобщую подачу голосов—44, что составляет около $^{2}/_{3}$, но в действительности этот рассчет был бы не вполне точен, так как из сторонников всеобщих выборов были бы исключены те заявления, которые *никаких* указаний на порядок выборов *не заключали*, а в действительности в серии заявлений, принимающих *другие основания представительства*, было только *шесть*, т. е. $^{1}/_{10}$. Такое же почти соотношение проявляется и в дальнейших заявлениях. Так что не греша против истинности, можно сделать вывод, что огромное большинство (гораздо более $^{2}/_{3}$) высказалось за предоставление права выборов всем жителям России без изъятия. Почти то же нужно сказать и по отношению к вопросу о распространении права участия в выборах на женщин. Конечно, относительно немногия из заявлений прямо высказываются, с приведением со-

---

непременно попали бы в число народных представителей, а не одни баре. Для обеспечения этого мы полагали бы лучшим, хотя бы первое время производить выборы народных представителей *по сословиям*. Тогда в число выборных попадут и крестьяне, которые лучше других могут защищать наши интересы. Но, впрочем, почти соседи их, крестьяне Тихвинского уезда Новгородской губ. (№ 31) заявляют, что в организации настоящего представительства Российской империи *не может быть допущено* ни сословное начало, ни цензовое, ни земское (т. е. представители не выбираются земствами) или так-наз. представительство интересов. Выборы должны быть всеобщие, равные, без различия сословий, национальностей, вероисповедания и пола".

ображений, за необходимость дать это право и женщинам. Прочие довольствуются тем, что заявляют о необходимости распространить это право на оба пола; но с другой стороны, только немногие приводят соображения о правильности ограничения права выборов одним мужским населением.

Нельзя почерпнуть из этих заявлений точных указаний о предельном возрасте избирателей. Очень немногие дают прямые указания, что избиратели должны быть только совершеннолетние, другие определяют начальный возраст избирателей, одним словом, каких либо точных указаний на положительные и отрицательные условия избирательного права, заявления не содержат и с этой стороны изследуемый материал особенного интереса не представляет. Формула их очень часто такова: «без различия религии, социального положения и национальности» (№ 24), «без различия сословий, национальности, вероисповедания и пола» (№ 31), или как пишут крестьяне Селишской волости Городецкого уезда Витебской губернии (№ 61): «Дай нам право выборов доверием нашим облеченных людей, без всяких ограничений, прямой, равной и тайной подачей голосов, и повели, чтобы каждый был равен и свободен в праве выбора устроителя судьбы русской и своего заступника». «Распорядись, Государь, немедленно прикажи призвать тех представителей, которые будут нами честно выбраны всеобщей, равной и тайной подачей среди нас голосов (ничего что будут другой веры и нации) и т. д., и т. д.

Было бы большим самомнением полагать что я привел полностью указания на желательные реформы государственного строя, которые содержатся в этих заявлениях. Во всяком случае я старался привести важнешия из них, имеющия значение если не по особой обстоятельности, то но всяком случае по распространенности их в широких слоях: „faciunt meliora potentes."

5) *Заявления отдельных единений.*

Перехожу к последним группам. К ним я отношу замечания некоторых отдельных единений и частных лиц, т. е. группе, которой я уже касался, но выбираю из заявлений те, которые кроме общих указаний о государственной разрухе, или кратких рецептов реформ, дали более подробные и планомерные соображения о предполагаемом собрании представителей земли, а затем заявления *некоторых частных лиц*, представляющие, по моему мнению, некоторый общественный интерес. Конечно, помещение заявлений только некоторых лиц может вызвать укор мне в произвольности. Я его принимаю, полагая, что его легче пе-

ренести, чем упрек в излишестве, удлинняющем статью и ничего не прибавляющем к успешному ее выполнению.

Излагать я буду эту группу выдержек в порядке их помещения в материалах, без всякой систематизации и, по возможности, подлинными выражениями.

Так, в докладе управы чрезвычайному Новоторжскому уездному собранию 30 мая 1905 г. (№ 115), в довольно общих выражениях указываются такие требования: «Искони бывшие и никогда не переводившиеся в России люди «радеющие об общей пользе и нуждах государственных» (слова манифеста 18 февраля 1905 г.) давно сказали и не перестают говорить свое «разумное открытое слово». Это слово *свобода*. Руководясь знанием местных потребностей, и жизненным опытом, эти люди облекли эту свободу, которой они жаждут для русского народа, в живые конкретные формы общественного существования и государственного устройства. Вот что сказали эти люди: личность русского гражданина должна быть неприкосновенна, русскому народу должна быть дана свобода совести, печати, собраний, союзов; суд должен быть для всех равный, устный и гласный; все лица, пострадавшие за свои религиозные и политические убеждения, должны быть прощены; просвещение на всех его ступенях нужно и должно быть одинаково доступно всему народу, народное обучение должно быть всеобщим, обязательным и бесплатным; высшим учебным заведениям должна быть предоставлена автономия и полная свобода научного преподавания; привилегиям меньшинства и полному бесправию громадных масс должен быть положен конец; на место тиранической опеки и грубого произвола бюрократии должен быть поставлен правовой порядок; положение об охране 14 августа 1881 года и институт земских начальников подлежат отмене; местное благоустройство должно быть в полном и самостоятельном ведении местных же людей и вестись представителями всего населения, безотносительно к делению его на сословия и классы; народу, в лице его представителей, избранных всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов, должны быть предоставлены законодательная власть, установление государственного бюджета и контроль над действиями администрации; народы, составляющие русское государство, все безразлично, должны считаться полноправными гражданами...».

Доклад Нижегородской уездной земской управы, принятый на экстренном уездном земском собрании (№ 137), начинается с подробного исторического обзора представительных собраний в Западной Европе и у нас в России в виде соборов, но при этом составители доклада, однако, прибавляют, что в настоящее время воскресить земские соборы в том виде, как

они существовали прежде, конечно, нельзя, в них должны быть внесены известные поправки и дополнения; но что тем не менее откладывать созыв представителей народа тоже нельзя и нет никакой причины заранее подробно разрабатывать детально механизм выборов и состав самого народного собрния, а само будущее учредительное собрание уже более основательно и удобоприменимо для России выработает форму и положение народного представительства для будущих собраний».

«Первое народное представительство должно служить непосредственому приближению к Государю народной массы и общественного мнения, должно заняться рассмотрением всех законопроектов и должно иметь право возбуждения вопросов о необходимости издания новых или изменения прежних законов, провозгласить свободу совести, личности, слова, должно иметь право рассмотрения государственных росписей и право контроля над исполнительным бюджетом, и последнее, оно должно решить вопрос о войне, рассмотреть, и обсудить причины, вызвавшие войну, причины из ряда вон выходящих поражений и на каких условиях возможно заключение мира».

Поэтому доклад, выходя из того положения, что первый собор может быть составлен или из существующих организаций, общественных, губернских, уездных и городских, биржевых, от купеческих и от организованных представительств, как от фабрик и рабочих, так и от разных просветительных учреждений, от профессоров Академии Наук и других учреждений. Или же оно может быть составлено по другому способу; нужно избрать представителей не от существующих выборных организаций, а под их наблюдением, и в этом случае оно может быть таково: участвовать должны в выборах и будущих собраниях люди, достигшие 25-летнего возраста, прожившие известный определенный срок на месте, владеющие известным имущественным цензом или платящие известный определенный государственный налог. Размер ценза и налога в будущем должен быть установлен первым земским собором единообразный для всех местностей; теперь же, при выборах в первый собор, установить тот ценз, который требовался для землевладельцев по положению 1864 года, и тот же порядок выборов для крестьян, который существовал в то время. Для всех избирателей не требуется никакого образовательного ценза, иначе из круга избирателей будет выключен большой круг крестьян—солидных и полезных, но неграмотных. Выборы могут быть выполнены под контролем и руководством уездных земских собраний. Как вывод из всего доклада, собрание предлагает: 1) спешить с созывом первого земского собора, Государственной Думы и Учредительного собрания, о чем и представить немедленное ходатайство; 2) начать с того положения,

которое было во время существования земских соборов в смысле их народного представительства, и выработать свою совещательную форму представительства; 3) выборы должны исходить от существующих выборных общественных учреждений. Более подходящими для этого являются уездные земские собрания, как близко стоящие к народу и заключающие в себе крестьянских представителей, и представителей городских учреждений; 4) уезд желательно разделить не по волостям, совершенно неравномерным по числу жителей и занимаемому пространству, а по другим более правильным районам, во главе которых не должны стоять, однако, такие административные власти, как волостной старшина; 5) Для выборов в первое собрание избирателями и избираемыми могут быть лица, достигшие 25-летнего возроста, владеющие известным определенным цензом и платящие налог, а представители от крестьян должны участвовать в выборах по системе двустепенной подачи голосов, сообразно тому, как они участвовали по земскому положению 1864 г. А для будущих собраний выборные условия установит первый собор. Если от губернии представителей будет 12 человек, то на долю крестьян должно приходиться до ⅔, а ⅓ на города и биржи... Для избирателей и избираемых образовательный ценз не обязателен... Для плодотворности будущей работы, первый земский собор, должен провозгласить свободу совести, печати и слова, подвергнуть рассмотрению роспись с контролем уже исполненного по ней, расследовать причины, вызвавшие войну, и обсудить условия возможности заключения мира.

Обширный доклад Екатеринославской губернской земской управы (19 страниц, № 154) излагает вначале тяжкое положение страны, из этой части выписки я уже приводил. Далее, в основу реформы доклад кладет двухпалатную систему, так как история Западной Европы доказала опасность однопалатной системы, в которой нет посредствующего звена между верховной властью и нижней палатой. Для представительства страны доклад предлагает принцип всенародного труда, как основу избирательного права активного и пассивного; представителей он разделяет на 4 группы: 1) от земцев, как представителей землевладения и сельского населния; 2) от городов, как представителей городского населения, обнимающего собою почти все свободные профессии; 3) от высших научных учреждений страны; 4) от торговли и промышленности, как важных отраслей народного хозяйства; только на этих основах возможно достигнуть надлежащего состава собрания, которому предстоит государственное строительство, и в котором должна быть обеспечена наличность элементов созидающих, а не разрушающих. Доклад отрицает, как принцип, избирательного

права, сословное, национальное или вероисповедное начала, как устраняющия равномерное участие населения в управлении и вносящия узко-кастовый характер, а равно не считает пока своевременным принцип всеобщего избирательного права, как возможный только в стране с высоким уровнем политического воспитания.

На этой основе—представительства труда строится система представительных учреждений страны:

Государственного совета из 1/3 членов по назначению и 2/3 по выборам на 3 года из лиц, обладающих высшим избирательным цензом или же известными заслугами на общественной и государственной службе.

Нижней палаты—из представителей всего населения, обнимающая все этнографические единицы и все общественные классы в рассчете одного выборного на 250 тыс. жителей с некоторыми добавлениями, причем общее число их по приведенным в докладе основаниям достигает 810 членов. Затем в докладе дается схема выборов по каждой из намеченных выше групп представителей труда. По этой схеме от землевладения и сельских обществ для всей империи число представителей будет до 617 человек[1]), от городов империи до 100 человек, от представителей науки и знаний 24, от представителей торговли и промышленности—24 и от примыкающего к этой же группе категории рабочего населения, которое доклад исчисляет около 1.800.000 человек,—45 гласных, всего 810. Затем в докладе приводится более детальная схема всего преобразования.

Заявление чрезвычайного собрания дворян Донской области (№ 158), хотя и содержит довольно подробный план представительства, но он относится только к предположениям об условиях представительства Донской области в общегосударственном предсобрании представителей, а не касается всей страны, а рядом помещается заявления Майкопской городской думы (№ 157) в котором имеется в виду представительство всего государства, но из него почему-то цензура канцелярии Совета Министров оставила только два предположения—1-е и 6-е, содержащие только общие соображения о государственном нестроении; из них некоторые выписки были уже мною приведены.

Чрезвычайное собрание дворянства Нижегородской губернии (№ 180) дает только основные планы избирательной системы народных представителей, не входя в соображения самой схемы будущего государственного строения России. Оно разделяет местное население на четыре группы: первая—

[1]) Причем от губерний Русских 473; от Царства Польского 52; от Кавказа 51; от Сибири 28; от Прибалтийского края 13.

землевладельцы, владеющие имениями не ниже 1000 руб. стоимостью; вторая—крестьянские общества, объединенные на почве владения общественными надельными землями с сословною организациею; третья—городские общества, связанные общностью городских интересов, как собственники, владеющие домами не ниже 1000 руб. стоимости, так и квартиронаниматели; четвертая—местные жители, не владеющие имуществом, но подходящие под условия двух цензов—давности проживания и доходности занятия, связанные однородностью их положения и деятельности на поприще той или другой службы. Эти группы образуют с'езды уездные. Впрочем, второй с'езд от крестьян состоит из представителей, избранных от каждой волости. На этих с'ездах избираются представители в губернский с'езд—от первых двух с'ездов по три, а от остальных по одному. На губернских с'ездах избираются в той же пропорции представители в центральный государственный с'езд. Кроме того, отдельно от представительства по губерниям должны быть в центральном учреждении представители от обрабатывающей промышленности, от купечества, избираемого в биржевых комитетах; от рабочего класса там, где рабочие составляют отдельную группу, порвавшую связь с землей, и от университетов.

Такая выборная система, по мнению дворянства, будет удовлетворять трем основным требованиям: 1) утилитарному—привлечь к законодательной работе те элементы, которые обладают надлежащим опытом и знанием; 2) политическому—удовлетворение справедливых стремлений к участию в законодательной работе всех местных сил и 3) воспитательному—заключающееся в предоставлении главной массе русского народа возможности выдти из безучастного отношения к совершающейся где-то политической работе.

Московская городская дума постановлением 7 июля 1905 года (№ 202) признала, что народное представительство должно быть организовано из двух отдельных палат, из коих первая должна состоять из представителей, выбранных всем населением, на основаниях, указанных в заявлении, а вторая должна состоять из представителей, избранных органами местного самоуправления, преобразованного на демократических началах. В настоящем заявлении Московской думы намечены основания выбора только в *первое* по времени собрание, а условия выборов в последующия собрания будут определены на самом собрании. В первую палату избирателем может быть всякий русский подданный *мужского пола*, достигший 25 лет, не лишенный избирательных прав, но при этом: военные, состоя-

щие на действительной службе, служащие в центральных и местных органах администрации и полиции, и местный прокурорский надзор права выбора не имеют. Избираемыми в члены собрания, сверх того, не могут быть воспитанники учебных заведений и лица, состоящия на государственной службе и получающие содержание от казны. Выборы производятся по рассчету одного на округ, имеющий от 150—200 тыс. жителей по переписи 1897 года. Выборы по округам производятся во всей России в один и тот же праздничный день. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Избираются на срок от 3—5 лет. предоставление женщинам избирательного права в собрании отвергнуто большинством голосов.

Не могу не прибавить, что это пожелание Московской Думы вызвало отдельное мнение 12 гласных, которые заявили, что, по их мнению, самое обсуждение вопроса о выборах представителей выходит из пределов компетентности Думы, так как ее члены не уполномочены избирателями к обсуждению таких вопросов, да притом и самые основы их мнения не соответствуют положениям, указанным в рескрипте Булыгину от 18 февраля 1905 года, так как там ясно указано, что Дума Государственная предполагается с совещательным голосом, а по мнению Московской Думы будущему собранию предполагается присвоить голос решающий; такое же видоизмененние сущности будущего собрания может быть только вредно для умиротворения страны и может повлечь отсрочку созыва.

б) Пожелания группы москвичей и некоторых отдельных лиц.

Это отдельное мнение служит для меня как бы мостом, который дает возможность перейти к мнениям отдельных лиц, во главе коих может быть поставлено мнение 18 москвичей (№ 66), из которых первым подписавшимся был Федор Самарин, а вторым—Юрий Бартенев. Это заявление самое подробное из всех помещенных в своде, оно занимает 40 страниц и привожу я его, конечно, очень сокращенно.

Это заявление озаглавлено: способы осуществления рескрипта 18 февраля, а самая сущность предлагаемых мер характеризуется тем, что «основы нашего государственного строя предполагаются остающимися неизменными и преобразование касается лишь организации выборов для выработки законов». Соответственно этому, предполагаемое участие выборных людей в законодательстве—может иметь лишь совещательный характер; выборные люди призываются не для того, чтобы заменить высшия законодательные учреждения, а чтобы восполнить их деятельность. В рескрипте, говорят они, нет речи о *народ-*

ном представительстве и ничего не говорится о предоставлении народу политических прав. Самое избрание их нужно лишь для того, чтобы указать власти «лучших людей», наиболее пригодных для выполнения государственного дела, для которого они призываются. Участие в законодательной работе должно рассматриваться не как право, предоставляемое населению, а как *обязанность*, на него возлагаемая. Нужны,—говоря языком эпохи земских соборов,—нужны «лучшие люди, которым государево дело было бы за обычай».

Для того, чтобы найти лучших людей, государственная власть должна обращаться к тем слоям и группам, которые издавна сложились в определенные классы и обладают надлежащею сплоченностью. Вместе с тем это должны быть такие группы, которые и в прошлом имели свое огсударственное значение. Что же касается таких слоев населения, которые недавно еще обособились или еще состоят из разрозненных личностей, то они не обладают прочным внутренним укладом, и было бы нецелесообразно вызывать от них выборных для участия в обще-государственной законодательной работе».

Переходя к организации выборов, заявляющие останавливаются прежде всего на всеобщем избирательном праве. Эта система признается ими явно неудовлетворительной, так как в основе ее лежит территориальная единица, на которой *случайно* объединились люди самых разнообразных занятий, общественного положения, образования, достатка, которые, по мнению 18 лиц, не могут столковаться и выбрать *совместно единого представителя*. При этой системе выборы будут совершенно *случайные*. «В избирательном собрании, составленном из всего округа, говорят они, встретятся крупный землевладелец и крестьянин, живущий одной землей, фабрикант миллионер и мелкий кустарь, богатый торговец и сельский лавочник, православный священник и духовное лицо инославного вероисповедания, люди, исключительно живущие умственным трудом, как учитель, врач, чиновник,—с людьми, добывающими себе существование работой физической, и с людьми, живущими на доход с недвижимых имуществ и капиталов. Можно ли надеяться, что эта пестрая, разнородная толпа съумеет столковаться и избрать достойных людей, которые пользуются доверием округа? Примером таких случайных выборов вследствие разнородности избирателей могут служить, говорят они, городские выборы больших городов. Поэтому, замечают они, казалось бы, что выборная система должна быть приурочена к существующим общественным организациям, т. е. к земским и городским организациям по законам 1864 года. Этого многие желают, но это было бы не соответственно *духу* рескрипта 18 февраля.

Хотя на земския организации многие привыкли смотреть,

как на первую ступень народного представительства и заведывание местными хозяйственными интересами иногда рассматривается как проявление самоуправления и самообложения, но в существе эти меры не могут уподобляться функциям, принадлежащим Верховной власти, а рескрипт 18 февраля имел в виду именно деятельность, имеющую характер государственной службы. Поэтому для предначертанной общегосударственной деятельности нельзя пользоваться лицами, выбранными населением для совершенно иного рода обязанностей, и такие лица могут оказаться и непригодными для того рода деятельности, которая им предстоит, оказать той помощи, которая ожидается правительством. Можно быть прекрасным председателем уездной управы и совершенно не годиться для законодательной деятельности и обратно.

Если же поставить дело так, что члены существующих собраний могут иметь право выбирать и не из своей среды, то и в этом случае население, даже участвующее в выборе земских и городских гласных, не будет принимать участия в предполагаемых выборах для государевой службы.

Далее они рассматривают возможность воспользоваться еще одним существующим у нас учреждением—приходом [1]), как единственно органически сложившимся у нас бытовым союзом, но находят это невозможным,—так как приходская жизнь у нас совершенно заглохла; во многих местах приходских собраний никогда не бывает, в других они обратились в пустую формальность.

За невозможностью приурочить выборы к существующим организациям, заявители переходят к предположениям о новых группировках населения по классам и по имущественным интересам. Эта система дала бы более удовлетворительные результаты, но это придало бы выборным лицам характер представителей имущественных интересов отдельных групп населения и при последовательном проведении привело бы к господству более богатых классов над остальным населением.

Поэтому они приходят к необходимости принять для избирательной системы группировку по сословиям, разумея под таковыми: потомственное дворянство, приходское духовенство, купечество, коренное мещанство и крестьянство. Дальнейшее изложение первой части заявления занято юридическим анализом этих отдльных групп, которые, в их представлении, связаны с исторически у нас сложившеюся Верховною Властью. «Сословия—далее заявляют они,—конечно, не обнимают собою

---

[1]) Образование одной палаты из представителей, выбранных приходами, рядом с другой палатой, выбранной земствами и сословиями, предлагает кандидат прав Тарянский (№ 198) в своем проекте, заслуживающем внимания разве по своей курьезности.

всего населения, так как есть общественые группы и классы, члены которых не принадлежат ни к одному состовию,—напр., личные дворяне, потомственные почетные граждане, даже потомственные дворяне, не имеющие земельной собственности, или существуют такие классы, которые в бытовом отношении совершенно обособились, но которые числятся в составе других сословий». 18 москвичей останавливаются на том соображении, что по указу 18 февраля требуются только лучшие люди, а не представители всего народа. «Да—продолжают они— и в тех государствах, где существует представительство всего народа, и там члены палат не являются в действительности не только представителями всего народа, но и значительной части его. Так как члены палат, напр., не являются представителями не только той части населения, которая юридически не имела права участвовать в выборах или фактически уклонилась от участия, или выбирала кандидатов, не попавших в избранные, но, кроме того, по рескрипту 18 февраля этой полноты избирателей и не требуется, так как идет речь не о опредставительстве народа, а о выборе пособников правительству; требуется подмога лучших людей в обсуждении предположений об устроении государства.

При этом по мнению 18 заявителей те группы, которые пригодны быть избирательными единицами рассматриваются ими не как юридически обособленные классы населения, а как бытовые группы, пригодныя для выбора. В этом отношении систему москвичей можно было бы сравнить с организациями былых смотрин царских невест: не все же боярские роды Москвы могли присылать представительниц на смотрины, а только те, у коих были статные на ту «государеву потребу» дочери или сестры. Поэтому в подробный анализ их соображений по этому анализу отдельных групп я не вхожу.

Не останавливаюсь я также на соображениях относительно избирательного ценза и организации выборов в каждой из пригодных групп. Нужно указать только, что рядом с этими основными правилами для коренного населения, они бегло касаются местностей с инородческим элементом. Инородцев они не исключают из числа выборщиков, кроме евреев, которые, по их мнению, хотя и живут среди нашего общества, но не входят ни в одну бытовую группу.

Затем заявители переходят ко второй группе вопросов о форме участия выборных в законодательстве, не выходя из поставленных ими рамок сохранения незыблемости основ государственного строя и совещательного характера участия.

Они не находят нужным, конечно, постоянную форму участия в совещаниях выборных, так как «лучшие люди» не могли бы быть отрываемы ежегодно или периодически и на

долгие сроки от их обычных дел и деятельности. Или они превратятся, в особенности в случае назначения им вознаграждения, в обыкновенных должностных лиц, или они будут небрежно относится к своим занятиям и не будут бывать в заседаниях. Поэтому они предполагают, что выборные будут приезжать в Петербург по мере надобности па разные сроки и в различном числе, по усмотрению Верховной Власти, как особого рода организация сведущих людей, как это уже и бывало в нашей бюрократической практике последнего времени.

Но при этом они признают не только желательным, но и необходимым организацию предварительного рассмотрения всех важнейших вопросов на местах, в местных комитетах, в подготовительных комиссиях, организацией коих и заканчивается заявление; причем они допускают возможность устройства даже известной очереди в образовании таких комиссий в особенности в виду участия в них представителей крестьянства и даже привлечение к такому участию по жеребьевке.

Отступление от содержащихся в рескрипте 18 февраля оснований—заканчивают они свое мнение—и произвольное их расширение не вызывается потребностями народной жизни и приведет лишь к созданию учреждений совершенно искусственных, чисто конституционного характера: раз движения происходящего у нас удовлетворить невозможно, пришлось бы в угоду ничтожному меньшинству отречься от исконных начал, на которых зиждется наш государственный строй.

В особенности восстают они против мысли передать на рассмотрение выборных вопросы о войне и мире, которые должны рассматриваться единолично. «Как же можно давать такую задачу представительному собранию при самом его учреждении! Да сохранит Бог наше отечество от такого опасного опыта!»

Заслуживает также упоминания мнение дворянина Кузьминского (№ 69), представленное в собрание бессарабских дворян. В противоположность москвичам, он, выходя из общего вопля «так далее жить нельзя» и отвечая на вопрос, что делать,—отвечает, нужно сейчас, немедленно созвать народных представителей—они скажут, *что* делать. Для созыва представителей он предполагает остановиться на существующих губернских кадрах избирателей; этим можно избежать многолюдности представительного собрания, так как оно не должно превышать 500—600 человек. Губернскими избирательными кадрами могут быть, как земства, муниципалитеты и дворянство, причем в городах должно допустить представителей и от промышленников, и от рабочих, и наряду с христианами допустить к выборщикам и нехристиан. Кроме того добавить выборщиков от ученых учреждений. Но любопытно, что в своих пред-

положениях он совершенно опускает главный подавляющий своим большинством элемент жителей России—крестьян.

Едва ли есть основания подробно излагать соображения редактора ежемесячного, мало кому известного журнала «Человеческая жизнь», дворянина Шаркова, предполагающего создать особый «Совет народной совести» (№ 68, стр. 46—66). Сущность его, как заявляет автор: сохранение никем и ничем неограниченного самодержавия Государя, а выборы народных представителей для законосовещательного собрания он предполагает произвести по профессиям, а не по сословиям, и не всеобщие; единственный ценз—сорокалетний возраст.

Некоторые из единичных заявлений не прошли чрез цензуру канцелярии, так, напр., предположение полковника Заусманского (№ 113); оно начинается с такой фразы: «вот в общих чертах те предположения, которыя могут обновить, наш обветшавший государственный строй», а какие это предположения осталось «миру неизвестно», или, по крайней мере, мне.

Дворянин Токарский (№ 149) предполагает ограничиться на первое время выборами от 51 губернии Европейской России, а представители от остальных частей могут быть избраны только на последующих собраниях по началам, выработаным первым собранием. На каждую губернию полагает он нужно допустить по 12 представителей, причем число представителей от городов не должно превышать 15%, а остальные от сельских жителей, которые разделяются на 3 группы: 1) крестьяне, которые имеют право участвовать в сельских сходах; 2) сельское православное духовенство; 3) все прочие, имеющие собственность в селениях. Женщины допускаются с правом передачи голосов. Выборы двух, а для крестьян даже трехстепенные. В городах к выборам допускаются и квартиронаниматели по тем же началам, как и для Петербурга. Собрание представителей имеет совещательный голос, с правом запроса министрам.

Барон Стуарт (№ 174-а) предполагает, что во главе государства останется монарх самодержавный и неограниченный, но при нем будет Государственная Дума, в которую он призывает достойнейших людей без различия звания и состояния. Из других его предположений, так как они обнимают весь строй государственного учреждения, можно указать разве на то, что министерство земледелия преобразуется в министерство земельных и водных богатств, и что сенаторы разделяются на старших и младших, последние будут состоять во главе губерний, в которых возобновляется и неумирающий тип городничего, и каждая губерния управляется на началах государственного самоуправления. Достойнейшие местные дворяне землевладельцы состоят мировыми судьями (без жалования), учреждается и по-

лиция с десятскими, пятидесятскими и сотскими, которые излавливают лихих людей.

Я привел эти указания в оправдание моего самовольства не излагать мнения всех досужих реформаторов.

Закончу последним штрихом,—следует ли приводить мысли таких почти что псевдонимов, как Бориса *Орлова* (№ 150), неизвестно кого представляющего, который защищает только одно непременное условие, чтобы выборы были сословные, так как иные будут вредны, ибо на них пройдут лица «одностороннего направления», или барона Штемпеля (№ 181), который находит, что «нам незачем заимствовать западно-европейский строй, так как в России в зачаточном виде было ранее всего запада все, что установилось в Европе, а потому он полагает восстановить: 1) всероссийскую земскую думу, призвав в нее не менее десяти тысяч заседателей мужского пола с вознаграждением за каждое заседание по 20 рублей, и 2) боярскую всероссийскую думу из государственного совета с жалованием членам от 10000—20000, а при разногласии их собирать государственную всероссийскую думу из общих учреждений под председательством самого государя.

И, наконец, мнение, очень краткое, одного из миллиона Ивановых, правда, с прибавкою, что он дворянин, который полагает (№ 185): политические права во всем их объеме должны быть прерогативою лиц русского происхождения и даются только тем инородцам (ни в каком случае евреям!), кои уже засвидетельствовали своею деятельностью преданность русскому народу, и 2) участие в законодательных работах и обсуждении государственных дел должно быть предоставлено только русскому народу; участие инородцев определяется правительством во времени и мере, не допускающим возможности влияний, могущих причинить вред русскому народу.

Это не касается прав гражданских и равенства всех пред законом, который один для всей империи.

ОГЛАВЛЕНИЕ

2-го выпуска.



Сочинения и издания того же автора.

1) **О повторении преступлений.** 1867.

2) **Преступления против жизни.** 2 тома 1870—1871 г.

3) **Курс русского уголовного права.** 3 вып. 1875—1878.

4) **Лекции по русскому уголовному праву.** Часть общая. 1878—1880.

5) **Русское уголовное право.** Часть общая 1902 г. 2 тома. 1460 стр. Ц. 10 руб.

Распроданы.

---

6) **Смертная казнь, как наказание.** Сборник статей 1913 г. Ц. 1 руб.

7) **Уголовное уложение 22 марта 1903 г. с мотивами 1904 г.** 1120 стр. Ц. 5 р. 50 к.

8) **Уголовное уложение статьи введенные в действие с мотивами.** 1911 г. 625 стр. Ц. 3 р. 50. к.

9) **Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.** Издание *восемнадцатое*, 1285 стр. Ц. 5 руб.

10) **Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями.** Издание *двадцать второе*, 575 стр. Ц. 2 руб.

Склад изданий юридический книжный магазин Н. К. МАРТЫНОВА, угол Садовой и Итальянской.

Цена 30 руб.